АЛЬБЕРТ ВАНДАЛЬ

НАПОЛЕОН И АЛЕКСАНДР I

ФРАНКО-РУССКИЙ СОЮЗ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ

ТОМ

III

ВТОРОЙ БРАК НАПОЛЕОНА УПАДОК СОЮЗА

Перевод с 6-го французского издания В.Шиловой С-Петербург, 1910 г.

ФЕНИКС
Ростов-на-Дону
1995

ББК 63.3
В 52

А. Вандаль

В-52 Сочинение в четырех томах. **Наполеон и Александр I.** Том III. Второй брак Наполеона. Упадок Союза. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 1995 г.— 576 стр.

ISBN 5—85880—233—8
ISBN 5—85880—236—2 (т. III)

В 4700000000
4МО(03)—95

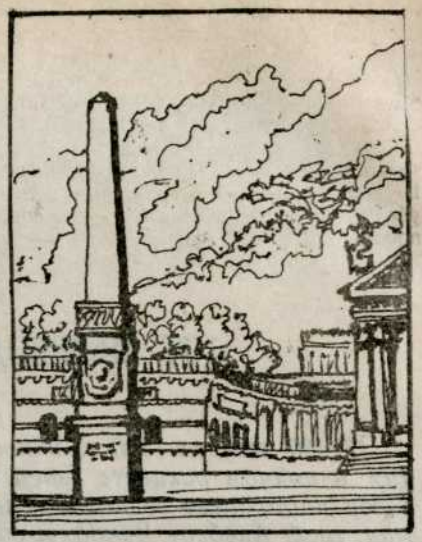
ББК 63.3

ISBN 5—85880—233—8
ISBN 5—85880—236—2 (т. III)

© Издательство «Феникс».
© Оформление Царёв С., А.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

17—30 августа 1910 г. скончался от воспаления легких, в полном расцвете своей деятельности и таланта, автор настоящего сочинения, член Французской Академии, граф Альберт Вандаль, один из самых выдающихся историков последнего времени, неутомимый, беспристрастный и вдумчивый исследователь политических отношений между Францией и Россией в XVIII и начале XIX столетия. Вандаль родился в 1853 г. По окончании образования он поступил на службу в государственный совет. Происходя из старой аристократической семьи, сын приверженца Бонапарта, бывшего директором почти во время второй империи, Вандаль, несмотря на горячее желание честно служить родине, не пришелся ко двору новому режиму и вынужден был оставить службу. Незадолго до этого в Париже была открыта Ecole des sciences politiques, задачей которой было подготовлять политических деятелей и где кафедру истории дипломатии занимал знаменитый Сорель. Вандаль стал посещать его курсы, сделался его другом и впоследствии занял его кафедру. Исследования по восточному вопросу привели его к изучению политических отношений между Россией и Францией: результатом чего и явилось сочинение «Napoléon et Alexandre», открывшее ему двери в Институт Бессмертных.



I

После Эрфурта

Каковы были по отъезде из Эрфурта намерения Наполеона и Александра. — Предложение мира Англии. — Наполеон имеет в виду подчинить силою оружия Испанию и повлиять на Австрию страхом. — Почему ему ненавистна мысль о новой войне и о новых победах в Германии. — Более всего он боится возбуждения польского вопроса, ибо он может поссорить его с Россией. — Какую выгоду представляет в его глазах союз с Россией. — Инструкции Коленкуру. — Дальнейшие планы: Средиземное море и Восток. — Желание Александра устраниться от дел в Европе. — Конец его мечтам о Востоке. — Преобладающее влияние Сперанского. — Страсть к реформам. — Сперанский и французский союз. — Упорное заблуждение Александра относительно намерений Австрии. — Царь хранит благодарную память о Талейране; он дает ему семью. — Румянцев в Париже. — Кампания за Пиринеями. — Нерешительные результаты. — Возвращение в Вальядолид. — Движение в Австрии. — Наполеон упорно держится за мысль рукою России удержать Австрию от войны. — Историческое сближение. — Что делал Александр во время испанской кампании. — Блестящее положение Коленкура. — Злословие салонов. — Приезд короля и королевы прусских. Какое значение приписывалось их посещению. — Наполеон жестоко притесняет Пруссию; протест Александра. — Вера наших врагов в могущественное влияние королевы Луизы. — Примирение царской четы. — Пожелание Наполеона Александру по случаю нового года. — Королева Луиза во дворце французского посланника. — Королева вызывает участие, но присутствие короля портит все дело. — Приезд в Петербург фаворитки и ее торжество. — Политика за время пребывания прусской королевской четы. — Наполеон опять просит у Александра дипломатического содействия против Австрии. — Царь отстаивает систему полумер. — Торжественная нота. — Пояснительное письмо Александру Румянцеву. — Князь Шварценберг в Петербурге. — Александр, несмотря на его уверенность, что он убедил Австрию отказаться от войны, в действительности, только поощрил ее к войне.

I

В Тильзите Александр 1 сказал Наполеону: «Я буду вашим помощником против Англии». В Эрфурте он повторил это обещание в торжественных выражениях в тексте договора, и оба императора приняли решение общими силами победить ту, которую они определили, «как общего их врага и врага континента»[1]. Они условились начать с предложения Англии мира и потребовать, чтобы она признала за ними те приобретения, которые каждый из них сделал видоизмененной Европе. В случае отказа противника они должны были на общих началах продолжать борьбу с ним и преследовать его всеми своими силами до тех пор, пока эта борьба не доставит им мира, основы которого они установили заранее. Но, хотя это основное положение и было установлено, им далеко не вполне удалось изложить вытекающие из него следствия в форме точных обязательств и общепринятых постановлений. И в самом деле, хотя их желания все еще стремились к одной цели, они резко расходились в средствах, и взгляды их на будущее были совершенно различны. Наполеон думал, что только война даст ему мир,— тот мир, какой был ему желателен, который узаконил бы его завоевания; Александр же надеялся, что мир придет к нему сам собой, что ему не придется добиваться его действиями, которые могли бы выставить его в нежелательном свете. Наполеон начертал себе план кипучей деятельности, в который входило систематическое выполнение много-

[1] Вступление к эрфуртскому договору.

численных и стремительных походов не только в Европе, но и в других частях света. Александр льстил себя надеждой, что отныне он будет спокойно наслаждаться приобретенными выгодами, будет только присутствовать при событиях, а не принимать в них участие, и бок о бок с Европой, где повсюду горела ненависть и кипели страсти, с наслаждением отдавался мечтам созерцательной политики.

После свидания на Немане Наполеон думал, что, обеспечив себя на время союзом с Россией, он в состоянии будет обратиться против Англии и покончить с ней; что ему ничто не помешает охватить ее со всех сторон и рядом разорительных операций довести до изнеможения. Веря в свое всемогущество, увлекаясь мечтами, потеряв чувство действительного и возможного, он захотел сплотить и поднять против нее всю Европу, завербовать всюду все, что есть лучшего и сильного среди наций, завладеть их армиями и флотом и воспользоваться ими для поражения Англии на всех пунктах земного шара, где только можно было на нее напасть. Увлекшись этой широкой идеей, он сделал один неверный шаг; одна ошибка разрушила все его комбинации и обнаружила их несостоятельность. Пока он смотрел на Восток и там искал дела себе по плечу, пока обсуждал с Александром раздел целой империи, началось с первого взгляда не имеющее большого значения восстание крестьян и горцев, выступивших мстителями за попранное право и справедливость. В Испании династия отдалась на его волю, но народ, которому угрожала потеря независимости, не сдерживаемый достаточными силами, поднялся на завоевателя. Он уничтожил одну из его армий, отбросил другие к подножию Пиренеев, впустил англичан на полуостров, и перенес на сушу, к нашей границе, которую Наполеон мечтал перенести на море. Теперь Наполеону нужно было прежде всего оправиться от неудачи, которая нанесла его славе непобедимого гибельный удар и явилась для его врагов призывом к избавлению. Чем чувствительнее был этот удар, тем более важно было, чтобы возмездие было быстрое и примерное. Наполеон решает, что прежде всего он отправится в Испанию и вновь введет туда французов. Он хочет непосредственно руководить войной и подчинить себе нацию, которая дала повод усомниться в его счастье; которая создала в тылу у него

очаг, пылающий ненавистью и мятежом; противопоставила ему сопротивление народное,— ожесточенное и фанатическое, и сделалась европейской Вандеей.

Эта война породила другую, ибо австрийский дом, пережив, после первых известий о событиях в Байонне, страшное беспокойство за свою собственную участь и спешно восстановив свои силы, поддался искушению использовать их и только что принял решение сделаться самому нападающей стороной. Он решил начать кампанию весной 1809 г. и одновременно с этим вызвать мятеж в Германии. Не зная еще об этом решении, Наполеон предчувствовал его; он предвидел, что, после кратковременной экспедиции в Испанию ему придется обратиться против Австрии и померяться силами со вторым противником.

Он сам создал это положение, так как благодаря событиям в Испании доставил Австрии повод для вооружений и случай для нападения. Тем не менее, хотя вся ответственность за новую войну,— близость которой уже чувствовалась в Германии,— и лежала на нем, он страстно желал избежать ее. Не потому, чтобы он боялся австрийских генералов и солдат. Вовсе нет! Разве они не познакомились и не померялись силами при Маренго, Ульме и Аустерлице? Сотня сражений, сотня побед доказала превосходство его оружия, и, хотя Австрия в настоящее время и располагала большими, чем тогда, силами, он слишком верил в себя, в свою способность находить и создавать выгодные для побед условия, чтобы серьезно опасаться за исход борьбы. Но он не обманывал себя относительно затруднений и опасностей всякого рода, в какие бросила бы его еще одна кампания в Европе, даже увенчанная блестящим успехом. Во Франции она окончательно оттолкнула бы от него общественное мнение, которое единодушно осуждало его предприятия в Испании; она усилила бы тлеющее повсюду против него глухое недовольство; она окончательно доказала бы французам, что все его царствование — одна война, война без отдыха и без надежды на мир. В Европе же, где Австрия уже в четвертый раз начинала с ними борьбу, и, следовательно, доказывала свое нежелание примириться, ему, чтобы обеспечить нас от неисправимой враждебности этого государства, придется отнять от него ряд провинций, быть может, совсем уничтожить его,— иначе говоря,

сделать пустое место в центре континента и от большой империи оставить только одни развалины. Но возвращаясь на почву благоразумия и осторожности, Наполеон отлично сознавал опасность новых перестроек старого европейского здания, а тем более разрушение первостепенной монархии, которая долгое время была основой его свода. Разрушение Австрии было бы сочтено за новый вызов законным властителям; оно усилило бы всеобщую тревогу и ожесточение, в частности, оно грозило поссорить нас с Россией. Чтобы сломить Австрию, пришлось бы пустить в ход все доступные средства, возбудить всевозможные вожделения. Прежде всех нам на помощь пришли бы поляки Варшавского герцогства, но за их содействие нужно будет заплатить: придется позволить им присоединить к их государству провинции, которые Австрия недавно похитила у них, т. е. дать Польше возможность восстановиться в двух третях ее прежних размеров, а такая quasi — реставрация пробудила бы тревогу третьего участника дележа, поставила бы между Францией и Россией вопрос, убийственный для их соглашения. Итак, Наполеон хотел избегнуть необходимости победить Австрию, чувствуя, что эта победа даст ему лишь гибельные лавры, и страшился не шансов, а последствий борьбы.

Но он сознавал, что Австрия откажется от войны только в том случае, если будет уверена, что война неминуемо приведет ее к гибели. Эту-то уверенность он и хотел внушить ей своим суровым обращением и бьющими в глаза мероприятиями, которые дышали строгостью и сознанием силы, и к которым он считал необходимым привлечь и Россию. По его мнению, союз с Россией, для которой европейский кризис представлял смертельную опасность, мог служить средством, способным удержать Австрию от войны. Трудно было предполагать, чтобы Австрия, как бы велики ни были ее задор и озлобление, с легким сердцем, не будучи ни вызвана, ни угрожаема непосредственно, решилась, себе на погибель, подставить себя под удары Франции и России, которые стерли бы ее в порошок. Взяться за оружие против одного Наполеона было бы с ее стороны только опасной дерзостью; разрыв же с Францией, пользующейся содействием России, был бы актом безумия, предполагать который невозможно. Итак, думал Наполеон, если венский двор упорствует в своих намерениях, то только потому, что он не верит, чтобы Александр крепко держался за союз с Францией, и, следовательно, в Вене учитывают, по меньшей мере, возможность нейтралитета русского монарха. Недавнее поведение Александра в Эрфурте могло только еще более поддержать в Вене уверенность в безопасности с этой стороны. В глубине души Наполеон не прощал своему союзнику, что тот закрывал глаза на тогда уже подозрительные намерения Австрии, и, обещая нам в секретном договоре — в случае нападения на нас — свою помощь, упорно отказывался тогда же принять относительно противника строгий и угрожающий тон[1]. Не зная еще, что Талейран выдал Австрии тайну о наступившем между императорами охлаждении и тем дал толчок ее воинственным решениям, он не скрывал от себя, что свидание плохо выполнило свою задачу и что опасность существует по-прежнему. Несмотря на это, он все-таки хотел верить, что, если будут продолжаться враждебные приготовления Австрии, царь в конце концов уступит пред очевидностью; что он согласится возвысить голос, «показать зубы»[2]; что он окажет на Вену настолько сильное давление, что заставит ее разоружиться. Расставаясь в Эрфурте с генералом Коленкуром, своим посланником в России, он предписал ему, чтобы он постоянно направлял взоры Александра на Австрию, чтобы доносить царю о всяком волнении, о всяком значительном движении в ней; чтобы он довел царя до того, чтобы тот ответил на действия Австрии стягиванием войск к границе Галиции и чтобы эта мера была выполнена с большой оглаской. Коленкур должен был неустанно повторять царю, что, когда император Наполеон уезжал из Эрфурта, чтобы отправиться в глубь Испании, он положился на своего друга; что он поручил ему заботу наблюдать за Германией и держать ее в повиновении, что для того, чтобы союз достиг своей цели, нужно, чтобы он не только существовал, но и был для всех очевиден; чтобы он проявлялся во внешних демонстрациях. С помощью этих доводов и настойчивых просьб Наполеон надеялся исправить свою полунеудачу в Эрфурте, поставить подпорки под неудавшийся план и сковать Австрию рукою России.

---

[1] См. 1-й том, 433—445, 497—501.

[2] Неизданные документы.

Он и в самом себе мечтал найти источник силы. Чтобы заставить Австрию оставаться в покое и отказаться от своих приготовлений, он рассчитывал на то впечатление, какое произведут на Европу его деятельность и несокрушимая энергия в Испании. Среди ближайших советников императора Франца, у всех правительств, у всех народов, составивших против нас заговор, держалось общераспространенное мнение, что война с Испанией надолго поглотит наше внимание и силы, что она затянется на много лет. Но, допустим только, что эта война, про которую думали, что она будет бесконечна, окончилась бы в три месяца; что в три месяца восстание было бы подавлено, англичане сметены в море, король Жозеф восстановлен на троне и страна подчинилась бы нашей воле; допустим, что император вернулся бы во Францию с ореолом победы и располагал бы всеми своими силами. Тогда задор и самонадеянность Австрии, конечно, не устояли бы пред блеском его неожиданного появления на горизонте. Тогда она смирилась бы, вернулась к порядку, сочла бы за счастье представить обязательства и получить гарантии. Наполеон хочет действовать в Испании быстро и решительно не только ради того, чтобы отомстить за поражение; он ожидает, что его победы в Испании отразятся тяжким ударом за Рейном и что подчинение полуострова косвенно обеспечит спокойствие в Германии.

Наполеон думает, что, когда Испания будет укрощена, а Австрия сдавлена в тисках, он опять приобретет то положение, на какое рассчитывал в начале 1808 г., т. е., что он будет располагать против Англии всей Европой. Тогда-то, думал он, он будет на высоте могущества и славы; тогда-то предоставится ему возможность успешно начать с своей соперницей переговоры о капитуляции. Хотя в Эрфурте он решился сделать сообща с Россией попытку достигнуть в ближайшем будущем мира с Англией, он не верил в успех этой попытки, ибо восстание в Испании и вражда Австрии, доставляя англичанам союзников и давая возможность высадки в Европе, будут, по его мнению, отклонять их от мысли вести переговоры. Однако, он не имел в виду прерывать переговоров тотчас же, как только убедился бы в их бесполезности; напротив, он хотел продолжать и затянуть их с целью снова найти и схватить их нить в то время, когда его военные и дипломатические успехи вынудили бы Англию уступить. Если бы, несмотря ни на что, она стала упорствовать в борьбе, тогда наступило бы время прибегнуть к тем разрушительным, гигантским операциям, которые Наполеон только отсрочивал, но не исключал, и которые неизменно оставались в его планах о будущем. Для выполнения их он решает, что уже с этого времени он будет держать в запасе некоторые силы, которые могли бы развернуться впоследствии. Он не перебрасывает за Пиринеи все войска, которые вывел из Германии, часть их он направляет к Северному морю; он имеет в виду вновь сформировать Булонский лагерь и постоянно держать под его угрозой Британские острова. Несколько корпусов посылаются к границам Прованса и Италии. Как только позволят обстоятельства, они начнут беспокоить неприятеля в Средиземном море, будут захватывать позиции и базы для наступления и делать смелые, внезапные нападения в ожидании момента, когда другие армии, освободившиеся вследствие прекращения войн в Европе, будут посажены на корабли наших восстановленных эскадр и двинутся для нападения на все пункты, где процветает торговля и владычество Англии,— в колонии, в Америку, в особенности на Восток: в долину Нила, на дорогу в Индию. Тогда-то, обратясь к Александру, он сбросил покров с своих планов, теперь еще неясных. Опьянив его надеждами, очаровав своим гением, уловив его в свои хитросплетенные сети, он сильнее подчинит себе своего союзника, увлечет его за собой и сделает орудием своих планов. Итак, мы видим, что, по своему обыкновению, кроме предприятий, которыми он занят теперь, он обдумывает и другие предприятия, которые распределяет сообразно условиям и требованиям борьбы и подготовляет их дальнейшее развитие. Так, если, несмотря на подчинение Испании, англичане не сложат оружия, то вид умиротворенной Германии, тесная блокада материка и запертые гавани, без сомнения, подействуют на их упорство; если же они устоят и против стольких предостережений и косвенных нападений, то, чтобы окончательно доконать их, ему ничего не останется другого, как только поднять против них всесокрушающий ураган на Средиземном море и Востоке.

Наполеон ошибался, думая, что, приобретя согласие Александра на свои планы, он мог надеяться и на его

помощь; намерения, которые царь вынес из Эрфурта, совершенно не отвечали таким ожиданиям. Далекий от мысли, что только мир с Англией должен положить конец начатому им делу, Александр поставил ему более близкие и уже намеченные пределы. После свидания он непоколебимо решил замкнуть круг частных, собственных интересов России и более не сходить с этого пути. Он намеревался ограничиться тем, чтобы довести до желанного конца две войны, которые он вел в интересах России и результаты которых были заранее предусмотрены и определены Эрфуртским договором. Его желания не шли дальше того, чтобы отнять Финляндию у шведов и княжества у турков. Да и то ему хотелось, чтобы эти завоевания явились следствием покорности побежденных, а не новых усилий с его стороны; он желал избегнуть необходимости снова сражаться и проливать кровь. В Финляндии было заключено перемирие, но доходящая до безрассудства неуступчивость короля Густава IV не позволяла надеяться, что он согласится пожертвовать областью, пока не будут исчерпаны последние его средства. Александр предвидел, что для достижения цели придется нанести шведам чувствительные, а, быть может, и жестокие поражения. Что же касается Востока, то, обязавшись пред-Наполеоном не возобновлять враждебных действий до истечения трех месяцев, он хотел использовать это время на переговоры с турками, на устройство съезда уполномоченных и сделать попытку к примирению, кладя в основу уступку княжеств. Если Порта откажется пожертвовать княжествами, он хотел возобновить войну, перенести на Дунай все находящиеся в его распоряжении силы, и вовсе не был намерен отделять от них какую бы то ни было часть, чтобы угрожать австрийской границе и устанавливать ради пользы Наполеона надзор за Германией. Вообще, в тех случаях, где выражения и смысл договоров требовали его содействия, он намеревался отделываться более любезностями, чем действительными услугами. Он решил, что будет засыпать Наполеона любезными словами, нежными признаниями, восторженными излияниями, но в результате, все это будет только предложением Наполеону дружбы царя, а не поддержки России. Он не прекратит войны с англичанами, по-прежнему будет терпеть лишения от разрыва торговых сношений с ними, но не будет в иной форме принимать участия в борьбе, в которой видит

для себя только второстепенную выгоду. Что же касается широких проектов,— возврата к вопросу о разделе Турции, иначе говоря, к тому, о чем велись переговоры в прошлом году, то он поставил себе за правило оставаться глухим ко всем внушениям этого рода[1]. Он навсегда выкинет из головы соблазнительные и обманчивые мысли и окончательно опустит завесу на виды, которые на одно мгновение ослепили его взоры. Во внешней политике он решил не предаваться более мечтаниям и навсегда поставил крест на романтический характер союза. С этого времени он видел в союзе только кратковременную сделку, в которой он, насколько возможно, ограничит свой риск и из которой извлечет заранее предусмотренную и исчисленную выгоду. Как только желаемые результаты будут получены,— он запрется у себя дома, воздержится от всяких внешних предприятий и, так сказать, возвратится из Европы в свои лучше очерченные и широко раздвинутые границы.

Его честолюбие направилось к внутренним делам России, и только в них искал он успехов. Кроткий самодержец всегда стремился ознаменовать свое царствование благотворными реформами, ближе приобщить свой народ к европейской цивилизации, поднять умственный и нравственный уровень всех классов и создать нацию там, где Петр Великий создал только государство. Эти великодушные проекты пленяли его с юных лет. В позднейшие годы, по восшествии на престол, он составил себе тайное министерство, интимный совет, в котором любил беседовать и философствовать о преобразованиях; но в то время следствием его увлечений теориями были только редкие и несовершенные мероприятия; главным же образом, это служило ему отдохновением от других трудов, средством отрешиться от действительности и найти забвение в грезах. По складу своего ума он был реформатором, но при этом у него не было достаточной выдержки; его пылкие намерения остывали пред трудностью и громадностью задачи. Чтобы взяться за дело, ему недоставало необходимой энергии и смелой предприимчивости. Но вот у него нашелся человек, в идеях которого он нашел свои собственные, но лучше, определеннее, точнее выраженные, более способные превратиться в конкретную и осязаемую форму.

---

[1] Донесение № 12, Коленкура Наполеону, 15 февраля 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1698.

Чем более он узнавал и приближал к себе Сперанского, тем более чувствовал, что этот, вышедший из народной среды, чуждый сословного духа министр может быть его дополнением, может поддержать его, придать ему необходимые силу и стойкость. Пылкий и мистический мыслитель, Сперанский в избытке обладал и способностью, и потребностью действовать; обладал мужеством превращать слово в дело, необходимым для борьбы с предрассудками и злоупотреблениями, настойчивостью и волей для достижения цели. С его помощью Александр надеялся осуществить дело, в котором он полагал свою славу. Мы увидим, что в последующие годы он будет постоянно возвышать Сперанского. В звании стат-секретаря он создает из него нечто вроде первого министра, пользующегося во всех делах правом инициативы и предложения. С этих пор полная солидарность мыслей и взглядов и постоянный общий труд связывают государя и министра, и влияние Сперанского сказывается во всех планах и делах Александра.

Сперанский только во внутренней политике любил смелые и рискованные планы. Он побуждал своего повелителя углубляться в заботы по управлению государством и думал, что, прежде чем расширять свои границы, Россия должна сама обновиться к лучшему. Он ценил и хотел сохранить союз, но — для своей родины — он видел в нем скорее воспитательное средство, чем орудие для завоеваний. Благодаря союзу, он надеялся завязать умственные сношения между двумя народами, получить самому возможность изучать наши законы, наши учреждения, их творцов, наконец, нацию, которая, прежде чем потрясти мир оружием, возвысила его своими идеями. В Эрфурте он показал себя человеком внимательным, любознательным, пытливым. Ему хотелось бы знать все, что возможно, о Франции, и о необыкновенном человеке, который управлял ею; он старался усвоить себе вместе с идеями философов и метод Бонапарта. Сам Александр, не с такой уже дружбой, как прежде, относившийся к императору, решившись противиться требованиям и соблазнам его политики, оставался его убежденным учеником во всем, что касается управления и внутреннего устройства государств. Он жил под впечатлением минут, проведенных в Эрфурте. Воспоминание о слышанных речах, о приведенных примерах, о разъяснениях, которые Наполеон расточал перед ним со всей силой своего вдохновения, владело им

и преследовало его; он все еще находился под влиянием и как бы под гнетом этого великого ума. Отсюда у царя и у его министра непреодолимая склонность искать себе во Франции предметы для изучения и подражания; отсюда тот отпечаток, который носят на себе их различные творения. Сенат, государственный совет, учреждения судебные, административные, финансовые, образовательные — все они наполеоновского происхождения, все вдохновлены латинским духом, но грубо пересажены на почву, дурно для них возделанную. Освобождаясь из-под влияния Наполеона-завоевателя, Александр старается ближе изучить в нем законодателя, зодчего государства: старается позаимствовать от него секрет и способы его действий и, чтобы преобразовать Россию, поступает в науку к знаменитому деспоту, пересоздавшему Францию.

Всецело отдавшись делу преобразования и прогресса, Александр боялся только одного, чтобы дела в Европе, от которых он хотел, насколько возможно, устраниться, не требовали его вмешательства. Конечно, ему не удалось бы этого избегнуть, если бы война, сосредоточенная теперь в Испании, придвинулась к его границам, если бы она вспыхнула между Францией и Австрией, т. е. в центре материка. Поэтому его искренним желанием было продлить мир в Германии, так как в этом он видел необходимое условие для существующего спокойствия и для уверенности в безопасности, источником которых, по его мнению, должна была быть Россия. Он вовсе не считал режим, предписанный Европе, хорошим и окончательным. Втайне он ненавидел его, но думал, что теперь всякое усилие изменить его только ухудшит дело, что оно только сделает еще тягостнее для всех закон победителя. Затем нападение Австрии вынудило бы его сдержать свои договорные по делу обороны обязательства с Францией, ценой которых он приобрел левый берег Дуная. Ему пришлось бы или уклониться от строго определенного обязательства, или принять участие в новых расхищениях, выбирать между данным словом и внутренним убеждением. Итак, его искренним желанием было, чтобы Австрия успокоилась. Но, упорствуя в заблуждении относительно характера вооружений Австрии, он видел в них только следствие страха, растерянности нации, которая думает, что ей угрожают и которая, вследствие этого, инстинктивно становится в оборонительное положе-

ние. Он был убежден, что резкостью и дурным обращением он ничего от нее не добьется, он не понимал того, что, угрожая ей войной, он мог бы избегнуть несчастья вести войну. После того, как в Эрфурте он обращался к австрийцам с благосклонной и сердечной речью, ему было тяжело переменить тон. Он по-прежнему убеждал себя, что может побудить их разоружиться и отказаться от мысли о наступлении, если будет повторять им, что никому не позволит напасть на них.

Если же, несмотря на его успокоительные слова, венский двор все-таки будет стремиться вызвать столкновение, он имел в виду дружески предупредить его и выступить в качестве официального посредника. Он не сомневался, что венский двор не откажется доверить свои интересы и заботу о своем достоинстве монарху, который всегда близко принимал их к сердцу; тому, который, как нам известно, любил выступать в спорах в роли рыцарски-благородного посредника, в роли почетного судьи между нациями, и который гордился тем, что он не столько самодержец могущественного государства, сколько первый рыцарь в Европе. Во всяком случае, он имел в виду прибегнуть к угрозе только в последней крайности. Он боялся, как бы, уступая слишком скоро и слишком покорно желаниям императора, не поощрить его самого к нападению на Австрию, он считал своим долгом защитить Австрию не только от нее самой, от ее собственных увлечений, но и в особенности от честолюбивых замыслов Наполеона, всегда готового ринуться за новой добычей. Точно так же намерен был он держаться и относительно Пруссии. Без армии, без денег, без границ — Пруссия была бессильна что-либо предпринять. Но уже самый ужас ее положения, в связи с возбуждением умов в Германии, позволял иногда опасаться с ее стороны какой-нибудь отчаянной попытки. Подобно Австрии, и Пруссию Александр не хотел поощрять к возмущению. Он намерен был советовать ей систему терпения, но при этом имел в виду относиться к ней внимательно и мягко, давая понять, что никогда не потерпит ее разгрома. Действуя таким образом, он хотел сохранить последние остатки старой Европы; хотел обеспечить за собой право на чувство благодарности обоих государств, к которым он, может быть, обратится в надлежащий момент, когда более благоприятные обстоятельства, которых невозможно предвидеть в

настоящее время, доставят ему случай восстановить на континенте равновесие сил и нравственное преобладание России, а до тех пор он останется союзником Наполеона, не отказываясь быть утешителем его врагов.

Эти две стороны его политики начинают обнаруживаться тотчас же по выезде его из Эрфурта. Имея и на возвратном пути в своей свите Коленкура, он обращается к нему при всяком удобном случае с благосклонными и дружескими словами, которые через посланника должны дойти до императора. Он как бы оборачивается к союзнику, с которым только что расстался, и делает ему сочувственные и дружеские жесты. Но, проезжая через Кенигсберг, он проводит два дня с королем и королевой прусскими и оставляет их в том убеждении, что, в известных случаях, Россия может сделаться их опорой и их защитницей. Далее он вспоминает о том французском министре, который в Эрфурте предостерегал его не быть доверчивым, который тайно перешел на его сторону и одобрил его сопротивление Наполеону. Он вознаграждает Талейрана за измену. Остановясь в Митаве, он разрешает брак принцессы Софии-Доротеи Курляндской, будущей графини Дино, с племянником князя Беневентского. В его разговорах часто повторяется имя князя в сопровождении хвалебных эпитетов. «Преклоняются пред вашим блестящим умом и с любовью относятся вам самим»,— пишет Коленкур Талейрану... «Император благоволит часто осведомляться о вас и удостаивает постоянным вниманием семью, которую он вам дал»[1]. Уплатив долг признательности и насладясь удовольствием делать людей счастливыми, Александр медленно подвигается на Север, не торопясь возвратиться в свою столицу и приняться за государственные дела; Наполеон же возвращается из Эрфурта в Париж, нигде не останавливаясь, и вступает на почву своей империи только для того, чтобы стрелой промчаться по Франции и лететь в Испанию.

II

Покидая императора, Александр оставил при нем своего министра иностранных дел, графа Румянцева —

[1] Archives des affaires étrangéres, Russie, 150. Коленкур довольно часто переписывался с Талейраном, не зная, конечно, о его тайных сношениях с дворами России и Австрии.

государственного человека, который, после Сперанского, наиболее пользовался его доверием и наиболее был близок ему по мыслям. Румянцев должен был на некоторое время поселиться в Париже, дабы отсюда, совместно с нашим министром иностранных дел Шампаньи, следить за мирными переговорами с Англией, начать которые предложили Англии Франция и Россия. Он приехал в Париж раньше нового русского посланника, князя Куракина, назначенного заместителем графа Толстого, который вернулся к своему призванию, военному делу. До прибытия Куракина Румянцев был представителем царя в Париже, исполняя в то же время и свои министерские обязанности.

Наполеон видел в нем не столько посредника в переговорах с англичанами, сколько соединительное звено с Россией. Он спрашивает себя: если бы ему удалось обольстить Румянцева и овладеть им, не мог ли бы он воспользоваться им для того, чтобы управлять союзом и придать ему жизнь и силу? Он приказывает сделать все, чтобы очаровать временно поселившегося в Париже министра, чтобы пребывание его в Париже было полно удовольствий, чтобы ему ни в чем не было отказа, чтобы льстили всем его склонностям. Наполеону известно, что Румянцев увлекается искусствами и литературой, что он человек ученый и любитель редкостей. Поэтому предписывается, чтобы наши музеи, наши коллекции, наши ученые учреждения настежь открыли пред ним свои двери; чтобы подробно посвятили его во все, что есть наилучшего в наших ученых и художественных учреждениях, и познакомили с их устройством, чтобы всякий предмет, на который он обратил внимание, был ему любезно предложен. У Румянцева страсть к книгам; пусть составят ему библиотеку из редких сочинений. Император желает, чтобы ему понравилось в Париже, чтобы он обставлен был так, чтобы чувствовал себя совсем, как дома, и добровольно продлил свою миссию. Он сам заботится о том, чтобы устроить его, поручает его своим министрам, приказывает заботиться о нем. Затем, бросив быстрый взгляд на внутреннее состояние империи, спешит принять за Пиринеями начальство над своими армиями и ввести их в дело.

В Испании он остается победителем всюду, где встречает неприятеля и может его атаковать; каждая остановка — выигранное сражение. Против ста тысяч регулярных войск, выставленных против него восставшими, он повторяет в больших размерах аустерлицкий маневр. Предоставив неприятелю надвигаться на наши фланги и ослаблять себя, растягивая свою операционную линию, он нападает на его центр и опрокидывает его в Бургос; затем обрушивается на левое крыло, приказывает маршалу Ланну изрубить его при Тудела, тогда как Сульт ударяет на правое крыло и рассеивает его в битве при Эспиноза. Вскоре после того стремительная кавалерийская атака при Сомо-Сиерра открывает ему дорогу в Мадрид. 4 декабря император делается хозяином столицы Испании, но не удостаивает войти в нее и ограничивается тем, что восстановляет власть своего брата. Война была бы окончена, если бы имели дело только с правительством и если бы народ не продолжал борьбы во всех провинциях. Регулярные испанские войска были разбиты и рассеянны, но из их остатков нарождаются новые армии, и сопротивление идет своим порядком, захватывая все новые районы. Наполеон надеется употребить время, которое ему остается пробыть на полуострове, для нанесения жестокого удара английской армии, вышедшей из Португалии и дерзнувшей проникнуть в Кастилию. Искусно сочетанными концентрическими обходами он готовится окружить ее и захватить в плен. К несчастью, судьба, теперь менее, чем обыкновенно, благосклонная к нему, не доставляет ему случая для решительных успехов, и, что особенно важно, не позволяет ему доводить до конца его побед. Быстро отступив, армия генерала Мура ускользает из его сетей и спасается от разгрома. Наполеон тотчас же бросается по ее следам, преследует ее по пятам в горах Галиции, захватывает ее отсталых, обоз, магазины и яростно теснит ее к берегу, где надеется уничтожить ее, прежде чем английские корабли успеют подобрать ее остатки. Но разве может он долго блуждать в этой отдаленной части полуострова, лишенной правильных сообщений с Францией, отсутствуя, так сказать, из Европы? Однажды вечером, во время стоянки, его нагнали проскользнувшие через тысячи опасностей курьеры. При свете бивачных огней он читает присланные ему депеши, и тотчас же на лице его отражается сильная озабоченность[1]. Важные известия призывают его

[1] Memoires duduc de Rovigo, IV, 27.

обратно. В различных частях Европы события пошли вперед: Англия, Восток, в особенности Австрия, наконец, Россия — требуют его внимания и могут потребовать от него неотложных решений. Тогда он обрывает преследование англичан, возлагает на Сульта заботу довершить их поражение и возвращается в Беневент, а затем в Вальядолид. В этом городе, где он «может получать эстафеты из Парижа через пять дней»[1], он останавливается, устраивается на жительство, и, отвернувшись от Испании, обращается лицом к Европе.

Известия, которые он получил в дороге, и те, которые дошли до него уже в Вальядолиде, заключались в том, что англичане для открытия переговоров ставили такие условия, которые не отвечали его честолюбивым замыслам и оскорбляли его гордость. Они требовали, чтобы восставшая Испания — в лице ее совета — была допущена к переговорам на правах самостоятельного государства[2]. Что же касается Австрии, то она, по-видимому, все сильнее склонялась к тому, чтобы объявить себя на стороне англичан; со всех сторон получались известия о ее возбужденном состоянии и о передвижениях ее войск.

Так, наш посланник в Вене, генерал Андреосси, главным образом, обращал наше внимание на упорное недоброжелательство Австрии и на ее военные приготовления. Между тем, как кабинет по-прежнему уклоняется от признания короля Жозефа и не желает дать нам этого доказательства добрых отношений, резервы и войска, созванные под предлогом учений и маневров, не распускаются, и все силы монархии остаются под ружьем. Андреосси пока еще не говорит, что характер этих мероприятий наступательный, но утверждает, что усиление и распространение в обществе враждебных течений — факт бесспорный, что повсюду раздаются злобные голоса, которые делаются все смелее, и что салоны объявили ему войну. Он говорит, что они всегда относились к нему подозрительно, теперь же обращаются с ним, как с врагом. Министры избегают его, что касается императора, то он обращается к нему только с короткими и сухими фразами, постоянно одними и теми же, на которые посланник отвечает в таком же тоне. Так, от 13 декабря Андреосси пишет: «Его Величество, по своему обыкновению, спросил меня: «Что поделывает ваш Император?» — Ответ: «Я имею о нем сведения только из газет, но я думаю, что он по пятам преследует неприятеля». Далее этого разговор не шел»[1].

Правда, венский двор только что вернул в Париж своего посланника, графа Меттерниха, уехавшего оттуда еще летом. Шампаньи пишет, что, как и прежде, Меттерних льстит и говорит туманно, что он по-прежнему рассыпается в миролюбивых уверениях, но, что, как только ставится вопрос ребром, как только высказывается желание, чтобы он представил доказательство своих слов, так сейчас же он попадает в затруднительное положение. Чтобы позондировать его, Шампаньи спросил, привез ли он акты о признании новых королей: «Меттерних молчит. Но он чувствовал, что нужно же приступить к единственному делу, которое только и существует теперь между обоими правительствами, и, после минутного размышления, он, с крайне смущенным видом, начал фразу и не кончил. Он пытался начать другую, но также не кончил, затем третью, четвертую, и, после целого ряда слов без всякого смысла, он еле пробормотал мне: Но... но... генерал Андреосси объявил, что эта форма неприемлема. Я понял, что он хотел оправдать отказ или запоздание признания... Я должен сказать Вашему Величеству, что мне никогда не случалось видеть, чтобы Меттерних, у которого обыкновенно такой непринужденный и уверенный тон, так сконфузился и так путался в словах»[2].

Из этого разговора французский министр выносит убеждение, что венский двор ждет «только момента, чтобы дерзнуть». Но,— говорит далее Шампаньи,— не будет ли он, «как свойственно трусам», ожидать этого момента до тех пор, пока не пропустит его? Министр очень надеется на это. Но его уверенность в недостатке у противника энергии опровергается донесениями из других источников. Шпионы, помещенные на границах Австрии — наши агенты в Триэсте, в Баварии и Саксонии — доносят о лихорадочных, спешных вооружениях в пограничных провинциях и о приготовлениях к выступлению

[1] Corresp., 14684.
[2] Id., 14643.

[1] Андреосси к Шампаньи. Эта депеша, как и все другие выписки из австрийской переписки, которые мы приводим в этой и последующей главе, взяты из архивов министерства иностранных дел, Вена, 381 и 382.
[2] Шампаньи императору, 3 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1675.

в поход. Уже повсюду в Европе венская дипломатия сбрасывает маску, действует открыто заодно с англичанами, и это единение в интригах доказывает, что австрийский дом поступил на жалованье к нашим врагам и скоро сделает в их пользу новую диверсию.

Чтобы подготовиться к угрожающей опасности и надлежащим образом встретить весьма вероятное нападение, император посылает из Вальядолида приказание произвести набор и сделать необходимые передвижения войск. Он приказывает усилить оставленные в Германии корпуса и передвинуть один из них ближе к Дунаю; посылает принцу Евгению план защиты Италии, приглашает государей Рейнского союза пополнить состав их войск, не формируя пока армий; наконец, он готовится к отъезду, приказывает нескольким отрядам своей гвардии двинуться к Пиринеям и объявляет о своем возвращении в Париж[1].

Правда, все эти меры предписаны только в видах предосторожности. Если Австрия успокоится, они будут отменены. Император пока не решается двинуть обратно к северу все войска, предназначенные для окончательного покорения Испании и для непосредственных операций против Англии. Всегдашней надеждой, которую он таит в глубине души, его излюбленной мечтой по-прежнему остается непосредственное нападение на англичан. Став вполоборота к Австрии, он не отрывает взора от стран, где можно напасть на Англию и где она не может защититься. Благодаря этому, его внимание раздваивается. С одной стороны, он следит за линией Рейна и Альпами, где ему нужно занять оборонительное положение, с другой — за Испанией, где он торопит с осадой Сарагоссы и организует экспедицию против Андалузии, затем идут Средиземное море и Восток, куда его влекут дерзкие поползновения к нападению. Прибавим, что Восток снова призывает его, сам давая повод к вмешательству. Курьеры, доставившие известия об угрожающих намерениях Австрии, вместе с тем привезли донесения и о новой революции в Константинополе. Визирь Байрактар, который в продолжение нескольких месяцев пользовался властью и олицетворял ее в глазах турок, только что погиб во время бунта под развалинами своего пылающего дворца. Законом в Константинополе сделалась воля солдат. и этот новый шаг на

[1] Corresp., январь, 1809 г.

пути к анархии, по-видимому, приближает для Турции роковой час крушения. Ввиду того, что катастрофа казалась очень близкой, в уме Наполеона сам собой возникает вопрос: не наступило ли время обеспечить за собой и, следовательно, теперь же занять известные позиции, представляющие огромную выгоду для конечной борьбы с Англией? Поэтому, одновременно с воззванием к государям Конфедерации, Наполеон подписывает приказ собраться морским силам в Тулоне. Он приказывает, чтобы к 1-му марта в этом порту была эскадра из семидесяти пяти судов, готовая перевезти «в любой пункт Средиземного моря» тридцать две тысячи человек, экипированных и снабженных для дальней экспедиции[1]. Приготовлениям придается вид, как будто они направлены против Сицилии, но император доверяет морскому министру, что он предназначает флоту «более важную роль»[2]; что он целит в Сицилию, а выстрелит в другое место. Не соблазняет ли его Алжир, или, быть может, Египет, тот самый Египет, завладеть которым он столько раз мечтал, и, владея которым, он мог бы изгнать англичан из восточной части Средиземного моря, вытеснить их влияние в Азии и угрожать им в Индии? Не выдавая пока тайны своих намерений, он позволяет провидеть обширные проекты. «Эта средиземная эскадра,— пишет он Декре,— интересует меня гораздо больше, чем вы можете думать»[3]. По его планам, две выведенные в прошлом году из Германии дивизии — дивизии Буде и Молитора — должны послужить, если не понадобится перебросить их на север, для сформирования экспедиционного корпуса. Пока же не обрисуется положение, Наполеон удерживает их около Лиона, откуда они могут двинуться или вниз по Рейну, или направиться на юг, к морю. И только в последней крайности, в случае безусловной необходимости, думает он оторваться от своей дуэли с Англией, чтобы «сражаться без всякого смысла»[4] с Австрией. Видя, как приближается новая война в центре Европы, готовясь к ней, он не мирится еще с мыслью, что не в силах помешать ей.

Он не отказывается от мысли — с помощью России

[1] Corresp., 14630, 14675, 14669, 14676, 14677.
[2] Id., 14665.
[3] Id., 14630.
[4] Id., 14864.

сдержать и парализовать Австрию. Но теперь он все более убеждается, что Австрия совершенно исключает из своих соображений гипотезу о существовании между двумя императорами нефиктивного союза. Нам известно, что расчеты Австрии были ошибочны, так как Александр дал в Эрфурте положительные обязательства, он обещал, что, в случае нападения на нас, он окажет нам помощь. Но так как царь не объявил Австрии об этом в достаточно-определенных выражениях, то заблуждение, в котором пребывали в Вене, было вполне понятно, в замалчиваниях царя там усматривали поощрение. В этом-то неисправимом заблуждении венского двора относительно поведения России в решительную минуту Наполеон и видел тайную причину австрийской дерзости.

Переписка с Веной давала на этот счет положительные указания и доказательства. Правда, Андреосси, равно как и император, не мог знать главных побудительных причин, на которых основывалась уверенность Австрии, он не знал ни о словах, сказанных Александром в Эрфурте, ни о предательских тайных сношениях с ним Талейрана. Но и помимо этого у Австрии были данные, на основании которых она могла быть спокойна за Россию, и они-то ни для кого не были секретом. Между глубоко враждебным Франции петербургским высшим обществом, ожесточенно стремившимся разрушить дело тильзитского свидания, и венской аристократией было много общего в нескрываемых симпатиях, в предмете общей ненависти, в общих надеждах,— наконец, в общем желании интриговать; поэтому в Вене могли думать, что за коалицией салонов последует и коалиция правительств.

Если у царя в Австрии были представители, то и великосветская и оппозиционная Россия точно так же имела там своих представителей, которые занимали в Вене выдающееся положение. Это были стоящие на виду высокопоставленные русские деятели и дамы высшего круга, которым пришлось уехать из Петербурга из-за слишком резко выражаемой неприязни к французской политике Александра и которые принесли с собой на берега Дуная страсти и речи, присущие эмигрантам. Во главе этой группы добровольных изгнанников, служившей соединительным звеном между двумя столицами, был граф Андрей Разумовский, «самый высокий и самый пустой человек»[1]. Разумовский, состоя посланником царя в Австрии до 1807 г., был главным деятелем и двигателем коалиций. Замененный после Тильзита другим лицом, он упорно хранил в себе к Наполеону чувство ненависти, от которого его государь как будто отказался. Он старался в Вене, и здесь, благодаря своему прочно установившемуся влиятельному положению, организовал и блестяще вел свою личную войну против Франции. Салоны его соотечественников, где он царил и задавал тон, были открыты исключительно нашим врагам. Аристократия и представители высшей администрации Австрии собирались там всякий вечер и запасались мужеством. Вместо того, чтобы успокаивать воинственный задор Австрии, члены русской колонии с особым удовольствием подливали масла в огонь, обещая в близком будущем поворот в политике России. По их словам, в Петербурге подготовлялись важные события. Они говорили, что, придерживаясь системы, осужденной общественным мнением и заветами старины, Александр I в высокой степени подвергает себя опасностям, которые во все времена угрожают власти и даже жизни государей. Теперь, говорили они, терпение недовольных истощается, и дворцовый переворот неизбежен. Некоторые, с претензиями на пророчество, говорили, что всегда предсказывали такой конец; что они, на основании получаемых известий и характерных признаков, давно предвидели его, и при этом припоминали слова, написанные в начале царствования одной московской дамой своей приятельнице в Вене: «Я только что присутствовала при короновании императора Александра. Я видела, как впереди государя шли убийцы его деда, подле него убийцы его отца, а за ним — его собственные»[2].

По словам самых умеренных из русских, проживавших в Вене, вряд ли потребуется прибегнуть к крайним мерам, к «азиатскому средству»[3], так как их правительство само собой вступит в свою естественную колею. Императору Александру, говорили они, опротивел французский союз; глаза его открылись, и достаточно самого легкого усилия, чтобы снова и уже окончательно привлечь его на сторону правого дела. Многие факты как будто оправдывали эти предсказания: так, в

[1] Неизданные документы.
[2] Депеша Андреосси, 13 декабря 1808 г.
[3] Joseph de Maistre, Memoires et Correspondance, p. 322.

салонах Вены члены русского посольства, не двинув бровью, без всяких возражений, выслушивали самые резкие выходки против Франции. После свидания в Эрфурте граф Толстой, бывший посланник в Париже, отправляясь в Дунайскую армию, ехал через Вену. В Вене, где антифранцузские чувства были хорошо известны, он был блестяще принят и сделался на некоторое время героем дня. С непоколебимой уверенностью он ручался за благосклонность своего правительства, и его слова, озаренные блеском его ранга, его недавним положением, его известными связями с интимным кружком царя, имели характер почти официальный[1]. Группируя эти многочисленные симптомы, сопоставляя их с эпизодами, которые имели место во время и после свидания в Эрфурте, австрийский кабинет чем дальше, тем больше отказывался отнестись серьезно к франко-русскому союзу. Он видел в нем только бессильное пугало, призрак, который исчезнет при первом же прикосновении. Мало того, существующее положение казалось венскому кабинету настолько благоприятным, что он намеревался вступить с Александром в непосредственные объяснения. Один из наиболее видных представителей австрийской аристократии, князь Карл Шварценберг, только что получил назначение отправиться в качестве посланника в Петербург, где у императора Франца в продолжение нескольких месяцев был только поверенный в делах. Князь готовился к отъезду. Его миссии предсказывали большой успех и надеялись, что его мощное красноречие рассеет последние колебания Александра и довершит уже далеко подвинувшийся в нем поворот к прежнему.

По мнению Наполеона, чтобы прекратить эти происки и сразу же отнять у Австрии всякую надежду, достаточно было, чтобы Александр, если он действительно хотел сдержать свои обязательства, высказался во всеуслышание определенно, тоном, не допускающим никаких возражений и никаких разговоров, чтобы его энергичное, не допускающее неправильных толкований слово заставило замолчать австрийцев и русских, — всех, кто осмеливался предвидеть его вероломство; чтобы он, немедля же, объявил, что только он может распоряжаться в России, что он готов властно вмешаться в дела Европы, что он подавит попытки нарушить мир на континенте и не оставит их безнаказанными. Итак, Наполеон возвращался к идее, которую тщетно пытался осуществить в Эрфурте: заставить Александра обратиться с угрозой к Австрии. Теперь, для того, чтобы убедить царя, он располагал более многочисленными и более сильными доводами, которые обстоятельства предоставили в его распоряжение. Во время свидания Австрия не обнаружила еще бесспорными признаками своего желания воевать; можно было вполне законно сомневаться относительно ее планов. Но то, что происходило в Вене после Эрфурта: непрерывные военные приготовления, тон, принятый обществом, кабинетом, одним словом, все — не доказывало ли это очередности твердого и заранее обдуманного намерения вести войну? Текущие события доставили Наполеону доводы против сомнений Александра, и при условии, что царь был искренен, трудно было допустить, чтобы он и в настоящее время отказался от действий, пользу которых он еще недавно оспаривал.

Важно было, чтобы Россия оказала нам эту услугу как можно скорее, прежде чем Австрия вступит на путь, с которого нет возврата. Необходимо было, чтобы теперь же оба союзника условились, какие требования предъявить ей и как придать им надлежащий вес. Одною из причин, которые ускорили возвращение Наполеона во Францию, и было желание приступить к переговорам по этому поводу и придать им более быстрый темп. Он спешит из Вальядолида в Париж главным образом для того, чтобы застать в Париже Румянцева. Между тем русский министр, окончательно убедившись в бесплодности попыток сговориться с Англией, объявил о своем отъезде. Он говорит, что крайне важные обязанности призывают его в Россию. До его отъезда Наполеон хочет повидать его, поговорить с ним, убедить его в необходимости действовать в Вене решительно и безотлагательно[1].

Еще до отъезда из Испании, Наполеон обращается непосредственно к царю. Он отправляет из Вальядолида одного из своих ординарцев, Понтона, приказывая чтобы он, как можно скорее, ехал в Петербург. Ему поручается письмо к императору Александру, в котором Наполеон напоминает о себе своему союзнику и посы-

[1] Депеши Андреосси, 13 и 24 декабря 1808 г., 15 января 1809 г.

[1] Corresp., 14690.

лает ему свои пожелания на новый год. Другое письмо дается ему же для герцога Виченцы[1]. В этом последнем, которое есть не что иное, как наскоро написанная инструкция, Наполеон предписывает своему посланнику, чтобы он дал почувствовать Александру необходимость неотложного совместного дипломатического воздействия, и намечает его план. Следует, говорится в ней, чтобы петербургский кабинет вместе с Коленкуром составили представление Австрии по поводу ее действий. Нота должна быть изложена в решительных выражениях, в ней должно быть предъявлено Австрии требование прекратить вооружение и перейти на мирное положение. Представители обоих государств в Вене, посланник Франции и русский поверенный в делах, должны предъявить ее вместе, в форме тождественных нот. Сверх того, они должны получить предписание: если они признают ответ, который им будет дан, неудовлетворительным, покинуть немедленно Вену, по собственному почину, в одно и то же время, не дожидаясь дальнейших приказаний. По мнению императора, этот одновременный отъезд, за которым должны последовать, если к тому будет повод, более внушительные меры, может заставить Австрию одуматься и внушить ей спасительный страх[2].

Уже заранее Наполеон доводит до всеобщего сведения, что он уверен в России, что русский двор идет за ним, что он смотрит на положение его глазами и присоединится ко всем его действиям. В каждом из писем, которые он диктует для своих братьев, для зятя, для немецких государей, он приобщает Александра к мнениям, которые сам высказывает, и заставляет его скреплять свою свирепую, едкую критику на австрийский дом. Он уведомляет Евгения: «Известия, которые я получаю со всех сторон, ясно говорят мне, что Австрия

[1] Напомним, что Коленкур получил весной 1808 г. титул герцога Виченцы.

[2] Донесение Коленкура от 22 февраля 1809 г. Мы напоминаем, что письма Наполеона к Коленкуру, во время его миссии в России, отсутствуют в переписке и известны нам только по ответам, которые следуют по пунктам. Все письма и донесения к Наполеону, приводимые в этом томе, находятся в национальных архивах, AF, IV, 1697, 1698 и 1699.

Письма Наполеона к Коленкуру были найдены по выходе в свет II тома оригинала. Они приведены в приложении к третьему тому. (Прим. пер.).

готовится к войне. Не только я, но и Россия возмущена тем, что она так чрезмерно храбрится». Жерому: «Если австрийский император сделает хоть малейшее враждебное движение, он перестанет царствовать,— вот что вполне ясно. Что же касается России, то никогда еще мы не были в лучших отношениях». Саксонскому королю он пишет: «Прошу сказать мне, что думает Ваше Величество об этом безумии венского двора. Россия возмущена его поведением и не может его понять». Обращаясь к вюртембергскому королю, он говорит и от своего имени, и от имени царя. «Мы никак не можем понять, говорит он, что за дух заблуждения овладел австрийским двором»[1]. Наполеон распространяет по всему свету слухи о своих в высшей степени дружеских отношениях с Россией, надеясь, что они, подобно эхо, отзовутся в Вене и запугают ее. С дерзкой самоуверенностью поднимается он на противника и хочет застращать его предполагаемыми намерениями Александра; еще не зная их, он предсказывает их и оглашает.

Итак, сдержать и запугать Австрию, пользуясь для этого Россией,— такова по-прежнему его преобладающая мысль. К этой цели сводятся все его усилия, и, поистине, вовсе не плохой сюжет для исследования представляет то, что в деле предупредительной политики он на шестьдесят лет определил самого грозного врага, какого только встречала пред собой Франция в течение девятнадцатого века, и наметил ему путь. Накануне нашего разгрома в 1870 году министр, создавший величие Пруссии, готовясь к войне с нами, боялся, как бы плохо примиренная Австрия, сохраняя в сердце горечь недавнего поражения и памятуя суровое с ней обращение, не поднялась против Пруссии и не поставила ее между двух огней. Он сразу же понял, что Россия, в силу ее географического положения, ее массы, ее внушительного внешнего престижа, лучше всякого другого государства могла оказать в Вене парализующее действие. Создав пред ее глазами мираж Востока, обольстив ее выгодами, скорее кажущимися, чем действительными, он добился того, что она вынудила Австрию к бездействию, наложив запрещение на ее воинственный порыв. Это была буквально та же самая роль, какую Наполеон, пользуясь теми же приемами, пытался навязать царю

[1] Corresp., 14715, 14721, 14722, 14731.

во время свидания в Эрфурте и которую он ему снова предложил в январе 1809 г. Судя по тому, как отзовется Александр на его призыв, возобновленный при наступлении более трудных и более тяжелых обстоятельств, он и решит вопрос о дальнейших к нему отношениях.

III

В то время, как Наполеон, после трех месяцев, проведенных в боях и походах, оторвался от войны с Испанией только для того, чтобы организовать дипломатическую кампанию, в то время, как его офицер, спешно отправленный в Петербург с новым планом действий союза, ехал через Германию, русский двор, вступивший на путь безмятежной бездеятельности, продолжал благодушествовать. Александр неизменно говорил о своей признательности за выгоды, которые были ему обещаны в Эрфурте, и не слишком торопился получить их. Единственное место в его государстве, где обнаруживалась некоторая деятельность, была граница со Швецией. Здесь военные действия были возобновлены, но не принимали характера достаточной силы и решительности. Поговаривали об экспедиции к Аландским островам, о высадке на берега Швеции, но и та, и другая оставались пока в проекте. На Дунае медлительность и формализм турок задержали открытие съезда уполномоченных, местом которого были назначены Яссы. В ожидании исхода переговоров, русские войска под начальством восьмидесятилетнего князя Прохоровского, стояли по своим квартирам. Что же касается Австрии, то, считая, что, сообщив ей свой взгляд, он достаточно успокоил ее, Александр находил бесполезным новые шаги в этом направлении и держался принципа невмешательства. Его дипломатия в Вене, равно как и его многочисленная пехота на Дунае, не двигались с места.

Главным и любимым его занятием за все это время были подготовка реформ и совместная работа со Сперанским. Стремясь провести в жизнь свои принципы, государь и его министр набрасывали основы обширного общеобразовательного учреждения. В то же время они составляли свод законов, общий для всей империи. Они хотели даровать России свой гражданский кодекс. Чтобы ближе подойти к избранному образцу, Александр

вошел в сношения «с нашими выдающимися законоведами и учеными»[1], приказывая аккуратно доставлять себе отчеты об их трудах. Посредником в сношениях с мирной Францией он избрал Коленкура и держал его в курсе всех своих начинаний. С начала своей блестящей миссии посланник никогда не был еще так близок к царю. То и дело герцог Виченцы приглашался во дворец короткими собственноручными записками, которые оканчивались сердечными или дружескими выражениями: то Его Величество ожидал его к обеду, то ему нужно было побеседовать с ним наедине; то он желал поздравить его с успехом нашего оружия, а то и просто желал его видеть и узнать о его здоровье[2]. Эти милости личного свойства нисколько не мешали официальным почестям; их расточали при всяком случае тому, кого Петербург называл одним словом «посол», как будто кроме него не существовало других представителей. Правда, общество только терпело такое положение, но нельзя сказать, чтобы относилось к нему доброжелательно. Оно ставило Коленкуру в упрек его властные замашки, его авторитетный и начальнический тон, почти царскую роскошь, которой он окружил себя, и влияние, которое он, по-видимому, оказывал во всех делах на ум монарха; говорили: «скоро он и указы начнет писать». Впрочем, враждебность к Франции сказывалась в это время скорее во вздорном злословии, чем в серьезном возмущении. Любимым занятием в салонах было судачить о наших бюллетенях из Испании, оспаривать их достоверность и от времени до времени сооб-

---

[1] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.

[2] 9 декабря 1080 г.: «Я взял перо, генерал, чтобы писать вам, как в тот же момент получил ваше письмо. Я хотел вас поздравить с успехами, о которых граф Румянцев сообщает мне в своих депешах, и подтверждение, которым я прочел в вашем. Граф Румянцев не может достаточно нахвалиться приемом, который был ему оказан. Я надеюсь, что теперь все пойдет сообразно нашим желаниям. Пока же примите, генерал, уверение в полном моем к вам уважении. Александр».

15 января 1809 г.: «Мне досадно было узнать, генерал, что вы еще хвораете. Я получил бюллетени. Битва при Тудела, кажется, была великолепным делом и наверное приведет к важным результатам. Я в восторге, что дела в Испании идут так хорошо, но очень огорчен вашим нездоровьем. Примите, прошу вас, генерал, уверение в моем полном уважении. Александр».

20 июня 1809 г.: «Доставьте мне удовольствие, генерал, придти ко мне через полчаса во фраке. Я имею сообщить вам нечто довольно интересное. А.».

щать о поражениях французских войск, пока какое-нибудь громкое событие, вроде взятия Мадрида, не вынуждало умы уступать пред очевидностью и не заставляло «лица вытягиваться»[1]. Общество по-прежнему много веселилось, делило время между частыми балами и интригами, и мешало одно с другим. Поэтому для высшего общества большим событием этой зимы, которому очень желали придать политическое значение, был приезд в Петербург короля и королевы прусских.

Прежде чем вернуться в свою столицу, очищенную нашими войсками, Фридрих-Вильгельм III и королева Луиза решили ответить царю на визиты, которые он сделал им в 1805 г. в Берлине и недавно в Кенигсберге. Они назначили свой приезд на январь 1809 г. Трудно было узнать наверное, от кого исходила инициатива этого свидания. Царь отрицал, что она исходила от него, король тоже; каждый из них желал показать, что он был на это вызван. Как бы то ни было, царь тотчас же принял меры, чтобы исполнить долг гостеприимства. Лишь только их Прусские Величества переступили его границу, он приказал поднести им в знак приветствия и как дар России великолепные меха; затем он послал им навстречу экипажи. Пока высокие путешественники приближались к столице, все внимание в ней было направлено на приготовление к их приему и празднествам. Руководимый утонченным чувством деликатности, тем благородством в поступках, которое было его характерной чертой, Александр хотел, чтобы обездоленная чета, еще более достойная внимания благодаря своему несчастью, нашла в его стране предупредительный и великолепный прием, который скорее соответствовал бы прошлому величию Гогенцоллернов, чем настоящему их положению, и чтобы с немецкими высочайшими особами обходились в Петербурге так, как будто битву при Иене выиграла Пруссия.

Никогда общественное мнение не допускало, чтобы государи могли покидать свою страну только для соблюдения приличий или ради удовольствия; оно всегда приписывает их путешествию сокровенные побуждения и выводит из них бесконечные следствия. И в настоящем случае думали, что, если Фридрих-Вильгельм и королева отправились в Петербург, то делалось это ради

[1] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.

того, чтобы заинтересовать и растрогать царя своей судьбой и снова привлечь его к их делу, т. е. к делу королей, которых скрутил и угнетал Наполеон. В этом посещении, которое совпадало с отъездом Шварценберга в русскую столицу, каждый хотел видеть новое, настойчивое усилие Германии отвлечь Александра от французского союза. Сколько ни протестовали наши агенты против такого толкования, сколько ни повторяли, согласно полученному приказанию, «что в путешествии прусского короля не было ничего такого, что могло бы быть неприятным Его Величеству, что оно не могло произвести на него дурного впечатления»[1], их словам приписывали только сомнительную ценность официального опровержения. В Петербурге наши враги радовались этому путешествию, наши немногие друзья были встревожены; Коленкур был не в духе и готовился быть настороже.

Его опасения еще более увеличивало то обстоятельство, что в самое недавнее время Александр дал доказательство возобновившегося участия к Пруссии и горячо, с чувством почти негодования, принялся защищать ее. Дело в том, что в Эрфурте Наполеон в угоду своему союзнику, согласился уменьшить на двадцать миллионов военное вознаграждение с Пруссии. Этой уступкой имелось в виду сделать возможным подготовлявшееся соглашение между дворами Парижа и Кенигсберга; но Наполеон, никогда не относившийся к Пруссии доброжелательно, испортил благое начинание, обставив его некоторыми ограничениями и требованиями. Он потребовал, чтобы побежденный платил проценты с сумм, остающихся в долгу, и принял на себя некоторые издержки, вызванные занятием трех крепостей. Это были непредвиденные расходы, которые почти уничтожали льготы, данные Пруссии. Франция в иной форме брала обратно часть того, что уступила так великодушно. В этих жестоких притеснениях Александр видел недостаток внимания к самому себе, почти недоверие. Он пожаловался на это Коленкуру тоном упрека и горечи, который обыкновенно не был ему свойствен. «Император мне обещал, сказал он: передайте ему, что я взываю к его слову... Я надеюсь, что, из дружбы ко мне, это дело будет восстановлено в том смысле и духе, как это бы-

[1] Инструкции Шампанья Андреосси, 26 января 1809 г.

ло условлено в Эрфурте. Я положительно настаиваю на этом. Я верно блюду мои обязательства, и император Наполеон должен держать свои. Не следует, ради того, чтобы вырвать несколько грошей у людей, и так уже более чем разоренных, портить воспоминания, которые остались у меня от нашего свидания... Я был посредником в добром деле; я требую исполнения данного мне слова»[1]. Он говорил, что, когда император удовлетворит его просьбу, он перестанет интересоваться Пруссией и думать о ней. Но очевидно, что его горячая речь говорила о стойком расположении к государству, печальная судьба которого удручала его совесть.

Но не было ли в распоряжении у разоренной, утратившей значительную часть своих владений Пруссии средства воздействия, иной раз более могущественного, чем блеск военной силы? Не произведут ли в Петербурге свое обычное действие красота и обаятельная прелесть королевы Луизы? Когда-то Александр не избег ее чар; можно было думать, что теперь он тем более мог попасть под ее обаяние, что сердце его как будто было свободно. С некоторого времени произошло охлаждение в его отношениях с женщиной, которую он любил с давнего времени и которую Савари и Коленкур называли в своих депешах по-военному: «красавица Нарышкина». Она проводила осень вне Петербурга, в Курляндии, и не прошло незамеченным, что, на обратном пути из Эрфурта, Александр не свернул с дороги, чтобы навестить ее. Отсутствие фаворитки как будто сблизило императора с императрицей и вернуло последней «все ее права»[2] Друзья царствующей императрицы разблаговестили о возобновлении супружеского сближения, и слух об этом дошел до Наполеона. Проявляя крайнюю заботливость о личном счастье и удовольствиях своего союзника, император не имел обыкновения наставлять его в добродетели, и не пренебрегал случаем, когда это требовалось, поспособствовать его развлечениям[3]. Тем не менее, он счел долгом в форме намека поздравить Александра с событием, которое могло обеспечить ему прямого наследника. В своем письме от 14 января он поместил такую фразу: «Позволите ли мне, Ваше Величество, пожелать вам доброго здоровья и красивого маленького самодержца всея России?»[1]. Однако, каждый, кто наблюдал царскую семью вблизи, легко мог убедиться, что это примирение имело только официальный характер, ради соблюдения приличия, что союз сердец не мог восстановиться, и что долго длившаяся между супругами отчужденность разъединила и охладила их навсегда. Императрица упорствовала в горделивом нежелании сделать что-либо для сближения и пренебрегала малейшим усилием удержать за собой своего супруга; говорили даже, что она смотрела на предстоящий приезд прусской королевы не только без ревности, но даже с некоторым удовольствием. Жозеф де-Местр, который в качестве тонкого наблюдателя по своему обыкновению, следил за тем, что происходило на петербургской сцене, объяснял это удивительное отречение политикой. «Несравненная женщина,— говорил он,— приняв свое решение относительно известного вопроса, видит в событии, о котором идет речь, только средство отвлечь государя от партии, которую она проклинает»[2]. Таким образом, все содействовало тому, чтобы Александр попался в заманчивые сети обаятельной королевы, задавшейся целью тронуть его своими слезами. Не думала ли королева Луиза обрести подле него тот успех, которого не добилась у Наполеона, и не рассчитывала ли получить в Петербурге реванш за Тильзит?

Король и королева с принцами Вильгельмом и Августом прусскими прибыли в Петербург 7 января. Въезд был торжественный; весь гарнизон, около сорока пяти тысяч, был под ружьем и стоял шпалерами. Несмотря на сильный мороз, император Александр пожелал сопровождать карету королевы верхом, вместе с королем и принцами. В Зимнем дворце прусские высочайшие особы были приняты обеими императрицами с изысканной любезностью. В глубине роскошных апартаментов, которые были приготовлены для королевы Луизы, она нашла деликатно приготовленный подарок и средство превосходно обновить свой гардероб: «дюжину изящнейших платьев огромной ценности, на все

[1] Донесение Коленкура, № 4, 20 декабря 1808 г.

[2] On dit Петербурга, посланное посланником вместе с его письмами и донесениями от 5 ноября 1808 г.

[3] В Эрфурте актриса Comédie fransise, mademoiselle Бургонь, замечена Александром, зимой она получила отпуск для поездки в Петербург.

[1] Письмо, изданное Татищевым: Александр I и Наполеон, стр. 467,

[2] Corresp., III, 172.

возможные случаи, и дюжину красивейших, какие только можно было подобрать, шалей»[1].

В следующие дни обозревали блиставший в зимнем наряде, покрытый снегом и залитый солнцем город. Развлечения непрерывно следовали одно за другим. Интимные вечера, блестящие гала, смотры и маневры, бал в национальных русских костюмах, французские спектакли в театре Эрмитажа, катанья в санях — ничто не было пропущено, чтобы придать некоторое разнообразие удовольствиям, чтобы подновить обыкновенную программу царских приемов и внести хоть что-нибудь новенькое в их обычную монотонность. Давно уже Петербург не видал подобного блеска, не представлял столько оживления и веселья. Все закружилось в этом вихре; деятельность министров была прервана, политика в пренебрежении. Коленкур жаловался, что «в России все дела остановились»[2], а Наполеон, в письме графу Румянцеву в Париж, сообщая новости из Петербурга, извещал его не без иронии, «что там много танцуют в честь прекрасных путешественниц»[3].

Такой прием жертвам императора делал положение его представителя довольно щекотливым. Коленкур держался, как подобает умному, с выдержкой, человеку. Считая бестактным держаться в стороне, он показывался всюду и не упускал ни одного случая напомнить об отсутствующем императоре, ни одного повода заявить о его существовании и поставить между царем и королевой воспоминание о Наполеоне.

Главным образом, он старался неуклонно поддерживать свои прерогативы. Во всех случаях, где он должен был являться с русскими или иностранными сановниками, он соглашался занять только первое место. Он не пожелал представляться королеве во главе дипломатического корпуса, но прежде него и один. На придворных балах, основываясь на прецеденте, установленном в Эрфурте, он, как французский герцог, потребовал, чтобы в парадных танцах ему было предоставлено место впереди немецких принцев. Его требование не было уважено сразу, тогда он уклонился от танцев, и этим обратил на себя всеобщее внимание. Поставив, таким образом, Францию на первое место, он мог совершенно свободно быть вежливым и любезным. Он показывался всюду с большой пышностью и принял участие в чествовании Петербургом гостей Александра.

Из иностранных посланников только он один принимал их. Только он дал в их честь большой бал в своем доме, роскошно убранном цветами, которые, в разгаре русской зимы, давали полную иллюзию весны. Это доставило ему случай привлечь в посольство официальный мир в полном составе, заставив «весь мир» торжественно пройти перед портретом Наполеона[1]. Он встретил гостей, окруженный настоящим двором из представителей государств Франции, взявших на себя труд помогать ему в его обязанностях хозяина дома и председательствовать во время ужина за столом в четыреста кувертов, чудеса сервировки которого превосходили все, что случалось видеть наиболее красивого и художественного в этом роде. С королевой обходились с самым почтительным уважением; но в присутствии Коленкура она испытывала непреодолимое стеснение. При нем она едва решалась говорить с лицами, враждебными Франции. Она внимательно следила за собой и тщательно скрывала волновавшие ее чувства[2].

Впрочем, бдительность и предосторожности нашего посланника были излишни, ибо посещение, несмотря на блестящий прием, не вызывало перемены, способной удовлетворить наших противников. Начать с того, что в светском обществе, которое, в силу приказания, толпилось около прусских высочайших особ, не проявляло к ним ни малейшего сочувствия. «Русские старого закала», враждебные всему нерусскому, находили, что двор напрасно тратится для иностранного королевства; в глазах же других, хотя и недолюбливавших Францию, Пруссия, со времени несчастной войны 1807 г., не была

---

[1] «Городские сплетники, прибавляет Коленкур, рассказывают, что ее привлекла надежда на эти подарки». Ondit и новости, январь 1809 г. Переписка того времени полна намеками, часто жестокими, на стесненные обстоятельства, в которых были король и королева прусские.

[2] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.

[3] Письмо, опубликованное Татищевым, Александр I и Наполеон, стр. 478—479. Gf. Correspondance de Joseph de Maistre,III, 171—211, u Souvenirs de lacomtesse de Voss, обергофмейстерины при прусском дворе, Neun und sechzig Iahre am Preussischen Hofe, 341—353.

[1] «Весь мир был на этом балу, писал Жозеф де-Местр, исключая герцога (герцога Серра-Каприола, посланника короля обеих Сицилий) и меня». Corresp., III, 211.

[2] De Maistre, Correspondance, III, 200.

популярна; наконец, тут был король, «чтобы сводить на нет сочувствие, которое внушала королева»[1]. Неблагодарная внешность Фридриха-Вильгельма, его подражательные манеры, неудобопонятная речь, несчастные усилия придать себе несвойственный ему вид военного,— и притом непременно кавалериста,— устаревшая форма, в которую он облекался и в которой походил на ряженого,— словом, все в нем вызывало на нелестные, насмешливые замечания и улыбки, которые даже из приличия не считали нужным скрывать. «Все, писал Коленкур, смеются над фигурой короля, над его кивером, и, в особенности, над его усами. На первых балах это делалось так громко, что пруссаки не могли не заметить. Все в прусских лентах, но только тогда держат себя немного приличнее, когда император в четырех шагах»[2].

В присутствии королевы уважение и симпатии к прусскому дому возрождались, но не доходили до энтузиазма. Посвятив свою жизнь тому, чтобы «в своем лице поддерживать достоинство короля»[3], быть обаянием и улыбкой монархии, она изо всех сил старалась загладить невыгодное впечатление, которое производил ее супруг. Но в это время, хотя все еще прекрасная и обаятельная, она не обладала уже той чарующей красотой, пред которой все преклоняется. Невзгоды и превратности жизни расстроили ее здоровье и заставили поблекнуть красоту. Тщетно старалась она бороться, тщетно прибегала ко всевозможным ухищрениям туалета, принуждала себя участвовать во всех собраниях, показывалась «одетая немного смело»[4], вся в бриллиантах, наряжаясь с такой роскошью, которая в ее положении давала повод к оскорбительным замечаниям; тщетно, превозмогая физические страдания и душевную тоску, оставалась верна тому постоянному стремлению нравиться, которое в прежние времена составляло ее непреодолимую прелесть. Теперь ее разбирали, делали между нею и русской императрицей сравнения, которые далеко не всегда были в ее пользу, и Коленкур, может быть, немного резко, излагает общее мнение так: «Королеву уже не находят красивой, хотя она делает невозможное, чтобы казаться таковой»[5].

[1] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
[2] Ondit et nouvelles, janvier 1809.
[3] Неизданные документы.
[4] I. De Maistre, Correspondance, III, 208.
[5] On dit et nouvelles, janvier 1809.

Правда, император Александр обращался с нею как «самый любезный и самый внимательный рыцарь»[1]. Но легко было заметить, что его поклонение обусловливается ее положением; что оно оказывается скорее несчастной монархине, чем женщине, и что молодой государь не переживал уже былых впечатлений. Прибавим, что в это время сердце его было в ином месте. В Петербург приехала Нарышкина и не пропускала ни одного бала. Уверенная в своих чарах, она, по обыкновению, одевалась с умышленно горделивой простотой: почти без украшений, едва несколько драгоценностей; она не забывала только приколоть к своим чудным черным волосам несколько «незабудок» (ne m'oubliez pas). Нужен ли был Александру этот немой и трогательный призыв, чтобы понять ее и вернуться к ней? Пламенные взоры и компрометирующее внимание и без того всегда были направлены на ту, которая так скромно об этом просила. «Обожание, которого она искала, было так же явно, как и всегда. Рассказывают, что внимание осталось то же, а посещения даже участились»[2]. В состязании, на которое рассчитывали ее враги, фаворитка нашла случай вернуть и упрочить свое влияние.

Но, может быть, Александр, несмотря на то, что теперь он менее, чем при обыкновенных условиях, способен был увлекаться очаровательной королевой, позволил бы отдалить себя от Наполеона и привлечь на сторону Пруссии ради побуждений менее интимного свойства? Нужно сказать, что, хотя празднества как будто и поглощали все время, однако и политика не была совсем забыта. Она тоже имела место в разговорах царя с королем; но Александр, вовсе не показывая желания вступать в новые против нас соглашения, заставлял своих гостей выслушивать только советы покориться своей судьбе. Он не отказывался выхлопотать у Наполеона смягчения их участи, не переставал просить пожалеть их и отнестись к ним справедливо, но при этом убеждал их временно покориться требованиям победителя. Он не препятствовал им надеяться на лучшие дни, но умолял не портить будущего бесполезным и преждевременным восстанием. По словам некоторых очевидцев, он, будто, пошел еще дальше. Коленкур писал: «Не знаю,

[1] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
[2] On dit et nouvelles, janvier 1809.

верить ли мне одной заслуживающей доверия особе, которая уверяла меня, что сама слышала, как на обеде у императрицы-матери император — разговаривая за кофе с прусским королем — при ней сказал ему, что географическое положение Пруссии, равно как и разум, требуют, чтобы Пруссия, как и прежде, была прикреплена к системе Франции. Может быть, это было придумано для меня?»[1]. Как бы ни был справедлив в этом случае скептицизм посланника, однако, достоверно, что Александр, осыпая отъезжающих короля и королеву «самыми утонченными знаками дружбы»[2], ничуть не поощрял их,— что бы ни случилось,— вмешиваться в волнения в Германии[3]. Так как Фридрих-Вильгельм покорно принял его советы, а угрожающий характер принятых Австрией мер всегда ускользал от него, то царь вообразил себе, что обеспечил мир на континенте, и успокоился на этом.

Послание из Вальядолида, призывающее его к дипломатическому содействию против Австрии и требующее угрожающей ноты, пришло в Петербург через несколько дней после отъезда прусских высочайших особ. Это было ударом грома на небе, на котором царь упорно не замечал ни одного облачка. Это требование и выраженное в нем стремление сделать союз деятельным и воинствующим, встревожили и смутили Александра. Он согласился говорить по этому вопросу с Коленкуром только после того, как приготовился к обсуждению и зрело обдумал свои мысли. Тогда он имел с посланником очень дружеское, но горячее и серьезное объяснение. «С тех пор, как я имею честь вести дела с императором Александром, писал Коленкур, никогда еще он не говорил так горячо»[4].

Ввиду фактов, на которые ему указывали, Александр признал полезным предостеречь Австрию и принял в принципе торжественную ноту. Но он не согласился санкционировать тот шаг, который Наполеон считал необходимым, т. е. уполномочить посольства, если нота не приведет к желанному результату, покинуть Вену. Ему казалось, что эта мера — обычный предвестник враждебных действий — может оскорбить, привести в отчаяние двор, который, по его мнению, был скорее неблагоразумным, чем злонамеренным. По его мнению, главной причиной тревог Австрии был страх, навеянный на нее извне; затем недостаток внимания к ней, одиночество, в котором держали ее во время переговоров в Эрфурте. Чтобы успокоить ее враждебное настроение, Александр по-прежнему советовал употреблять мягкие средства, применяемые нежной рукой. Против болезни, принимавшей острый характер, он все еще верил в силу успокоительных средств[1]. Если он и соглашался употребить то оружие, которое выковал Наполеон то только при условии притупить его острие. Кроме того, он желал, чтобы предлгаемый шаг был сделан не представителями двух дворов в Вене, а лицами более именитыми, с признанным опытом и тактом. По его мнению, отчего бы не возложить это на графа Румянцева, присоединив к нему, чтобы говорить от имени Франции, Талейрана, умеренность которого внушала царю полное доверие. Румянцев и Талейран могли бы исполнить или в Вене, или,— обратившись к Меттерниху,— в Париже данное им специальное поручение.

Поставив предварительно такое условие, Александр приказал отправить в Париж проект составленной совместно с Коленкуром ноты, тщательно взвесив и смягчив ее выражения. В нем оба двора в достаточно строгих выражениях осуждали поведение австрийцев, и требовали, чтобы они разоружились или, по крайней мере, дали объяснения. Они указывали им скорее на нравственную ответственность, которую налагало на Австрию нападение, чем старались внушить страх пред материальными его последствиями. В ноте подразумевались взаимные военные обязательства России и Франции, но не говорилось, в чем они заключаются; в ней не содержалось положительной, формальной угрозы, которая только и могла повлиять на Австрию и заставить ее отказаться от войны[2].

Одновременно с нотой Александр написал Румянцеву, дабы посвятить его в свои намерения. Его письмо

---

[1] Коленкур Наполеону, 15 января 1809 г.
[2] J. De Maistre, Correspondance, III, 190.
[3] Gf. Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 350.
[4] Донесение от 22 февраля 1809 г.

[1] Коленкур писал в своем донесении: «Надежда кончить политические разногласия так же, как умиротворяют семейную ссору, обольщает филантропический ум императора до такой степени, что никакие доводы не изменят его мнения».
[2] Проект ноты находится в национальных архивах AF, IV, 1698, отправка 22 февраля 1809 г., 2-е приложение.

было очень длинно,— «целый том», как говорил он. Написанное всецело его рукой, и, по его обыкновению, карандашом, оно раскрывает его сокровенные мысли; разоблачает его сильнейшее желание избегнуть войны; его разногласие с Наполеоном относительно средств предупредить ее; его упорное непонимание истинных намерений Австрии — словом, его самые искренние убеждения и его заблуждения.

Император Наполеон, говорит царь, заитересован в том, чтобы знать положительным образом намерения венского двора. Он желает добиться от него категорического ответа, и, в случае, если ответ не будет удовлетворительным, хочет, чтобы наши миссии получили приказание покинуть Вену. Что касается меня, я думаю, что не подлежит спору, что знать истинные намерения Австрии существенно важно; но, так как цель, которой желательно достигнуть; есть сохранение мира, то я считаю столь же существенно важным, чтобы поведение, которого мы будем держаться, соответствовало этой цели. Наилучше составленная, наиболее убедительная, самая успокоительная для Австрии нота, если она будет закончена угрозой отозвать миссии, может испортить, благодаря этому концу, все то хорошее, чего можно было бы ожидать от ее содержания. Достоверно, что поведение Австрии во многом обусловливается ее оскорбленным самолюбием. Разве, нанося новое оскорбление ее самолюбию, можно надеяться помешать ей сделать то, чего избегнуть для нас крайне важно? — Итак, мое мнение таково: нота должна быть тщательно обдумана, убедительна, но, в особенности, обильна успокоительными для венского двора уверениями... Если он окажется недовольным, это послужит доказательствами, что, направляемый Англией, он всеми силами стремится к разрыву. Но не будем предоставлять каким-то Анштету (это была фамилия поверенного в делах России в Вене) и Андреосси судить о том впечатлении, какое произведут на венский кабинет слова, с которыми мы к нему обратимся; предоставим это самим себе или людям, которые вполне пользуются нашим доверием и оправдают его, как, например, вы и князь Беневентский. В наших интересах устранить или, по крайней мере, отдалить, насколько возможно, разрыв между Францией и Австрией, ибо, надо сознаться, что мы попадем в довольно затруднительное положение. Если Австрия нападет, мы будем вынуждены, в силу наших обязательств, обнажить шпагу; если же это сделает Франция, то, хотя наше соглашение и не налагает на нас в этом случае никаких обязательств, наше положение будет ничуть не лучше, ибо разгром Австрии будет действительным несчастьем, которого мы не можем не почувствовать»[1].

Далее Александр сообщает Румянцеву о своих первых беседах с князем Шварценбергом, только что прибывшим в Петербург. Первый же деловой разговор с австрийским посланником не был успокоительного свойства. Сбрасывая до некоторой степени покров с намерений своего двора, Шварценберг дал понять, «что Австрия не может оставаться в том положении, в каком она находится в настоящее время, и что еще вопрос, не лучше ли попытать счастья в новой войне, чем остаться в таком неопределенном и мучительно-тягостном состоянии». На это признание царь ответил, что Австрия должна «выбирать между разгромом, избегнуть которого будет невозможно, и, может быть, воображаемыми опасностями». Он высказал, что Наполеон непобедим; что добровольно сталкиваться с ним значит стремиться к гибели; что, помимо всего этого, Наполеон не хочет войны — в Петербурге это доподлинно известно. И Александр с увлечением заговорил о миролюбивых намерениях Наполеона, хотя далеко не был уверен в этом. Он обещал прийти на помощь Австрии, если на нее нападут, но не скрыл своих оборонительных обязательств с Францией и объявил, что сдержит их.

К несчастью — он не сообщил этого Румянцеву, но мы знаем это из депеш Шварценберга — даже давая нагоняй, он не скрыл, что питает глубокое участие, почти нежность, к судьбе Австрии и затаенную вражду к Наполеону. Он говорил, что не в его интересах обязывать наших врагов к вечной покорности; что он только просит их потерпеть, выждать случая, что нужно поберечь себя для будущего, сохранить себя в целости для лучших времен: «когда-нибудь придет час мщения»[2], говорил он. Произнося эти важные и зловещие слова, высказывал ли Александр то, что он действительно думал? Не хотел ли он, как он нередко это делал, прино-

[1] Письмо от 17 февраля 1809 г. Archives de Saint-Petersbourg.
[2] Донесение Шварценберга от 15 февраля 1809 г., цитируемое Beer'ом op. cit. стр. 349.

ровить свою речь ко вкусу своего собеседника?[1] Или же он считал это средством сделать Австрию, которую он до известной степени извинял и страстям которой потворствовал, более послушной. Достоверно то, что Шварценберг вынес из своих бесед с царем убеждение, что русский государь окажет французам в борьбе, на которую уже решились в Вене, только ничтожное, не имеющее никакой ценности, содействие. Он сообщил своему правительству о таком утешительном убеждении. По его мнению, не следует терять надежды даже на то, что, если счастье сразу же улыбнется оружию Австрии, Россия сблизится с нею и переменит фронт. Правда, Александр и не подозревал о толковании, которое было придано его словам; напротив, он думал, что произвел на Шварценберга впечатление самое обескураживающее, и льстил себя надеждой, что своими словами направил Австрию на путь мирных идей. «Он отправил своего курьера,— писал он Румянцеву о Шварценберге, — и я питаю надежду, конечно, не имея в этом математической уверенности, что со стороны Австрии предупредил разрыв с Францией. Остается теперь добиться того же самого со стороны Франции, и я надеюсь, что ваши усилия будут иметь успех»[2]. Таким образом, он вернулся к прежней мысли, которая имела некоторое основание в примерах прошлого, но, при данных условиях, безусловно — ложной, будто необходимо убедить Наполеона,— во всяком случае не менее, чем Австрию,— отказаться от войны. Он поручил Румянцеву, который вскоре должен был встретиться в Париже с грозным императором, заботу выполнить эту щекотливую задачу, т. е. советовать в Тюльери воздерживаться от войны, тогда как это нужно было предписать в Вене.

[1] «Часто случается, что император, ничего не имеет в виду в своих разговорах, и угощает, так сказать, тем блюдом, о котором думает, что оно нравится его собеседнику». Mémoires du prince Adam Czartoryski, t. II, 218—219.

[2] Письмо от 10 февраля 1809 г. Archives de Saint-Petersbourg.

II

Разрыв с Австрией

Возвращение Наполеона в Париж. — Дурное расположение духа императора. — Опала Талейрана; какое впечатление произвело это в России. — Тайные сношения Талейрана с императором Александром. — Наполеон думает, что война с Австрией неизбежна и будет в скором времени. Примет ли в ней участие Россия? — Представители России в Париже. — Посланник князь Куракин; его формализм, политическое ничтожество и забавные стороны. — Граф Николай Румянцев. — Свирепые выходки императора в беседах с Румянцевым. Некоторое успокоение. — Наполеон хватается за последнюю надежду остановить Австрию и взывает к дипломатическому содействию России. — Решительный шаг. — Непоправимые следствия испанской войны. — Роль Меттерниха. — Румянцев устраняется от дел и бежит со своего поста. — Австрия демонстративно сбрасывает покров со своих намерений напасть на нас. — Национальный характер войны. — Настойчивые обращения Наполеона к России. — Трудное положение Александра. — Игра в прятки. — Разговоры за столом и деловые беседы. — События в Турции и Швеции. — Вторжение австрийцев в Баварию. — Двойственность Александра. Что говорил он Коленкуру и Шверценбергу. — Он останавливается на решении разыграть с Австрией комедию войны.

I

23 января, по выстрелу пушки Дома Инвалидов, Париж внезапно узнал, что император в Тюльери. Он прибыл в восемь часов утра, раньше назначенного времени, захватив врасплох двор и столицу. Он, как фельдъегерь, промчался от Вальядолида до Бургоса, и на переезд на почтовых от Вальядолида до Парижа употребил только шесть дней. И в этот раз он возвратился победителем, обратив в бегство врагов и захватив трофеи. До него прибыли в Париж восемьдесят знамен, взятых у испанцев. Однако, на лице его не отражалось радости победителя; он был мрачен, озабочен, раздражителен; гнев его легко возбуждался. «Нетрудно рассердить его»[1],— замечает Румянцев, явившийся вместе с другими к императору по его возвращении. Причиной тому было то, что ко всем поводам к неудовлетворению, которые явились у императора в последние дни его пребывания в Испании, прибавились совсем плохие вести из Вены. Он узнал о них тотчас же по приезде. В письме Андреосси, от 15 января, была следующая приписка: «В то время, когда я оканчивал депешу, до сведения моего дошло, что будет объявлена война; нападение назначено на начало марта». Из этого донесения, которое подкреплялось сведениями, и из других источников было очевидно, что Австрия, уступая страстному желанию начать войну, предупредит применение тех мер, которыми думали ее сдержать.

Итак, Наполеону доносят, что в скором времени ему будет объявлена война — он принимает вызов заранее. Он говорит, что будет вести войну с бешеной энергией и доведет ее до конца. Но она ему ненавистна, ибо отвлекает его от Англии. Страшный гнев, которым он разражается против государства, вынуждающего его к войне на континенте, дает понятие об искренности его усилий предупредить войну. С этого времени Австрия делается главным предметом его нена-

[1] Письмо императору Александру, 26 января — 7 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

висти. «Она изводит его»[1],— пишет Румянцев. Наполеон говорил, что Австрия — его вечный непримиримый враг; что она всегда на его пути; она становится между ним и Англией; ее-то нужно сломить и уничтожить прежде всего. Но гнев его не останавливается на одном внешнем враге. Среди близких к нему людей он чувствует, он инстинктивно ищет виновников создавшегося положения. Конечно, в затруднениях, которые на него обрушились, он прежде всего должен был бы винить самого себя, — вспомнить, что он сам бросил вызов всем законным династиям, нападая хотя и на недостойную династию, но зато и на самую покорную и самую безобидную. Но все-таки, нужно признать, что, кроме недовольства самим собою, он имел право быть недовольным и другими, ибо пользуясь его ошибками и всеобщим утомлением от беспрерывных войн, против него создалась оппозиция даже при собственном его дворе, среди его ближайших советников. Дух критики и осуждения поощрялся теми людьми, которых он возвысил и которые были ему всем обязаны. Ему небезызвестно было, что во время его отсутствия эти люди ради того, чтобы общими силами вести против него интригу, забыли свои личные счеты, что они заранее учитывали его падение, изыскивали основы иного правления и мечтали создать себе, помимо него, положение и будущность; что, наконец, это глухое движение, небезызвестное в Европе, поощряло венский двор не медлить с войной. Не зная, что один из французских сановников простер измену до того, что советовал австрийцам «не давать себя предупредить»[2], Наполеон догадывался, что между внутренними крамольниками и сторонниками войны за границей существует несомненная связь. В особенности в том, что происходило за последние шесть месяцев, он смутно замечал руку, привычную управлять интригой, плести в ней нить с коварным искусством. Он безошибочно узнал эту руку — и гнев его обрушился на Талейрана.

Известна сцена, которую он сделал 28 января в Тюльери князю Беневентскому в присутствии Камба-

[1] Id., 23—24 января 1809 г. Arhives de Saint-Pétersbourg.
[2] Слова Талейрана Меттерниху, Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, стр. 365.

сереса и Декре. Непрерывно, в продолжение долгих часов, он осыпал Талейрана упреками и оскорблениями. В конце концов, несмотря на то, что он обращался с ним, как с государственным преступником, и заклеймил его этим именем, он ограничился тем, что лишил его обер-камергерского ключа. Он, как безумный, ругался, не имея в виду очень строгого наказания; ибо его правилом было щадить людей, которые оказывали ему содействие в начале его карьеры. Известно и то, что Талейран выдержал бурю с невозмутимым спокойствием, с почтительно покорным бесстрастием, склонясь, но не падая ниц под карающей десницей. Такое поведение нашло при дворе много поклонников; но никто не был в таком восторге, как старик Румянцев. В России он присутствовал при трех переменах царствования; не раз был свидетелем как первого появления, так и заката блестящих фаворитов; был свидетелем достопамятных падений, и никогда не видал, чтобы немилость переносилась с таким горделивым достоинством[1].

Устранение Талейрана от дел, как бы справедливо это ни было, не могло не повредить Наполеону в глазах России; там посмотрят на это, как на полный разрыв с идеями умеренности и благоразумия. Император Александр не отнесется безучастно к немилости, постигшей его эрфуртского советника. Вскоре лестные и милостивые слова, произнесенные свыше и переданные через члена русского посольства, дойдут до князя, утешат его в опале и вызовут на тайную переписку, которая окончательно сделает его агентом для сообщения сведений и наблюдений правительствам иностранных государств[2]. Талейран воспользуется своими сношениями с Александром, чтобы усилить его недоверие к Наполеону и способствовать скорейшему отчуждению; он будет вредить Наполеону и непрерывно составлять против него заговоры вплоть до того момента, когда бедствия Франции снова выдвинут его на одно из первых мест, а крупные услуги, оказанные им стране, восстановят его в его правах и титулах, не оправдав его поступков.

[1] Румянцев императору Александру, 28 января — 9 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] Впоследствии Талейран сносился с императором Александром частью непосредственно, частью при содействии Нессельроде и Сперанского. Archives de Saint-Pétersbourg et Recueil de la Société impériale d'histoir de Russie, t. XXI.

На другой день после сцены в Тюльери был бал у королевы Голландской. Единственными иностранцами, которых император разрешил пригласить на бал, были граф Румянцев, престарелый князь Куракин, — новый посланник царя, — князь и княгиня Волконские — русская супружеская чета, проживавшая в Париже. Во время бала император отозвал в сторону Румянцева и Куракина, увел их в одну из зал, смежных с теми, в которых танцевали, и в продолжение трех часов горячо говорил им о положении дел[1]. В следующие дни он несколько раз приглашал Румянцева к себе и завел привычку беседовать с ним каждое утро. Со времени своего возвращения он не терял ни одного случая, чтобы привлечь к себе Румянцева и отличить Куракина, от которого, он торжественно принял верительные грамоты; он беседовал с ними при всяком удобном случае, старался не только отличить их своим вниманием, но и точно определить, на что они способны. Никогда еще Россия не озабочивала его до такой степени, и главным желанием его было узнать, насколько может он на нее рассчитывать. Исключительно моральной поддержки, которой он просил до сих пор, теперь уже не было ему достаточно. Еще до получения проекта тождественной ноты он решил, что для того, чтобы иметь значение, эта мера явилась слишком поздно. Вопрос, который он ставил себе теперь, был следующий: примет ли Россия участие в войне, которой она не сумела помешать, сдержит ли свои обязательства и будет ли действовать заодно с нами? Чтобы увлечь ее за собой, Наполеон искал для сношений с царем полезного посредника — человека, который был бы способен возвыситься до понимания потребностей настоящего момента и вполне проникнуться ими; который бы мог оказать в Петербурге решающее влияние, восстановить ослабевшую силу союза и вызвать его на энергичную деятельность. Мог ли он надеяться найти нужного ему человека в том или другом из старцев, присланных ему Россией — в аккредитованном посланнике или в министре, который приехал в Париж только на короткое время?

Князь Александр Борисович Куракин, пройдя с

[1] Mémoires de Metternich, II, 266

подобающей пышностью путь высоких должностей и состоя в последнее время представителем России в Вене, приехал во Францию доканчивать свою слишком затянувшуюся карьеру. Назначая его своим посланником в Париж, Александр I не сделал более удачного выбора, чем при назначении графа Петра Толстого. Толстой питал к нам чувство непримиримой ненависти; это был наш враг, на которого по несчастной случайности была возложена миссия скрепить дружественное согласие. Куракин грешил скорее недостатком ума, чем доброй воли. Генерал Андреосси, который был его коллегою в Австрии и хорошо изучил его, предпослал ему во Францию такой портрет: «У князя Куракина нет принципов, за исключением принципа союза, от которого он еще не вполне отрекся, но, как мне кажется, немного охладел к нему. У него нет идей, за исключением идеи мира. Дальше этого он ничего не видит. Он страшно легковерен, ибо не дает себе труда размышлять; склонен прислушиваться к внушениям своих подчиненных и был здесь... обычным предметом шуток и мистификаций. Благодаря его непомерному тщеславию, предместье Сен-Жермен легко завладеет им. Впрочем, мне приятно воздать должное его личным качествам; они все превосходны. Но в настоящем случае я рассматриваю его как общественного деятеля, и только в этом отношении он должен остановить на себе внимание моего правительства»[1].

Куракин был послан в Париж скорее для представительства, чем для переговоров. Он был избран только потому, что отличался беспрекословным послушанием, и обладал громадным состоянием, позволявшим ему с пышностью занимать свой пост. Можно было думать, что, несмотря на вновь возникшие в нем предубеждения, он употребит все старания, чтобы действовать в духе Тильзита и быть приятным Наполеону. К несчастью, его неподвижность — не только телесная, но и умственная — его благодушная сонливость и полное отсутствие инициативы делали его безусловно не способным понимать государя, который был сама деятельность, само движение; не способным следить за его пылкой волей и служить ей.

[1] Андреосси Шампаньи, 14 ноября 1808 г.

Да к тому же присущие ему странности, которыми он приобрел себе европейскую известность, не позволяли ему занять при дворе и в свете подобающего его званию положения. С первого дня своего приезда в Париж, куда он привез огромный персонал служащих и где любил окружать себя с чисто азиатской роскошью приживальщиками и прислугой, он сделался предметом любопытства. Безобразие и необычайная толщина, которыми он отличался, выступали еще более от утрированно-роскошных костюмов. Александр Борисович был убежден, что о посланнике судят по платью, по блеску, которым он себя окружает, и что он сам должен быть живым воплощением роскоши. В силу такого убеждения, он и среди возродившегося общества оставался верен пышным и устарелым модам прошлого века — тяжелым одеждам из парчи. Он отделывал их кружевами, усугублял дороговизну обилием бриллиантов и драгоценных камней; усеивал бриллиантовыми звездами, всевозможными орденами, коллекцию которых он понабрал себе в различных столицах и с которыми не расставался ни на одну минуту дня[1]. Он воображал, что в этом пышном наряде неотразим, и был только смешон. Его жеманная речь, благоговейное поклонение этикету, мания соблюдать церемониал, даже в самых обыденных делах, дополняли тип, который мог бы иметь успех на театральных подмостках, но не фигурировать с авторитетом на политической арене. Париж толпами стекался на его великолепные приемы и долго забавлялся его наружностью и манерами.

Общественное злословие уже изощрялось на его счет. Оно подметило в нем не только щепетильную страсть к этикету, но и отдававшее старым московским боярином самодурство, и причуды избалованного, обратившегося в детство старика, от которых больше всех страдали молодые люди его посольства, не лишавшие себя, однако, удовольствия позабавиться на его счет. Да к тому же и немощи его мешали ему как следует исполнять свои обязанности. Больной подагрой, периодически страдая от припадков этой аристократической болезни, больше всего заботясь и говоря

[1] «Согласно интимной хронике того времени, эти украшения сделались до такой степени необходимыми в обиходе князя, что он с утра носил на своем халате полный их комплект». Baron Ernouf, Maret, duc de Bassano, p. 305.

о своем драгоценном здоровье, Куракин принес к нам только остаток сил, да и тем суждено было окончательно погибнуть в вихре удовольствий Парижа. Кичась при всяком случае своим высоким положением, он не умел поддержать его достоинства. На него с удивлением смотрели, когда при исполнении своих обязанностей он являлся в сопровождении четырех своих побочных сыновей, которых он обратил в секретарей. Поспешность, с которой он по приезде в Париж постарался организовать у себя кутежи, — что он сделал даже раньше, чем стал принимать светское общество, — вечное пребывание в опере среди балетного персонала; забавная важность, с которой он исполнял в этой среде обязанности посредника и отечески старался мирить ссорившихся, вскоре доставили агентам, которых держала при нем императорская полиция, сюжеты для самых пикантных картинок. Можно судить о мнении, которое должен был составить себе император о человеке, которому надлежало обсуждать с ним самые высокие интересы и которого полицейские донесения представляли ему героем скабрезных или забавных приключений. Наполеон очень скоро и правильно оценил Куракина, и, видя пред собой блестящее ничтожество, решил, что не может рассчитывать на это подобие посланника[1].

Мог ли он возлагать более серьезные надежды на графа Румянцева? Этот государственный человек своим долговременным опытом в делах, гибкостью ума и широтой взглядов во многих отношениях оправдывал доверие, которое оказывал ему его государь. Его политические симпатии хорошо были известны. Он всегда думал, что Франция и Россия, по их топографическому положению, по параллельности интересов, были созданы друг для друга. В тильзитской системе он видел только применение на деле своих основных принципов. Он был творцом теории франко-русского союза, лелеял союз, как свое детище, и, видя, что он обеспечивает такие результаты, как присоединение княжеств, радовался его процветанию гордостью отца. В Наполеоне он признавал одну из самых необычайных личностей, какие только являлись в течение веков. Покорить и приручить эту силу и заставить ее

[1] Archives nationales Esprit public, F 7, 3719 et 3720. Vassiltchikoff, ies Razoumovski, IV, 384—424.

служить русским интересам было бы самым заветным его желанием; но он приближался к этой силе осторожно, с некоторым страхом, боясь ее увлечений и бурных порывов. Быстрые шаги императорской политики сбивали его с толку, так как он сроднился с более медленным темпом, с более деликатными приемами старой дипломатии. Поэтому, не расходясь с Наполеоном, он боязливо, нерешительным шагом плелся за ним.

Его пребывание в Париже внушало ему скорее удивление перед императорским режимом, чем доверие. Изучая все с внимательным любопытством, посещая свет и салоны, где он заставил оценить свое любезное и слегка жеманное обхождение, он скоро уловил сильные и слабые стороны императорского управления. Пораженный величием, блеском, практичностью, какие представляла эта система, он нашел, что все пружины государства натянуты до того, что готовы лопнуть; от него не ускользнуло, что под этим великолепным и строгим режимом сама Франция чувствовала себя в тисках и начинала задыхаться. Однажды император спросил его: «Как вы находите мое управление французами? — Не шуточным, Ваше Величество, ответил он»[1]. Встревоженный наполеоновским деспотизмом, который с каждым днем все более становился всем в тягость, страшась стремления императора к всемирному владычеству, он считал полезным умерять, сдерживать императора и, в случае надобности, сопротивляться, но при всем том чувствовал необходимость, ради сохранения его благосклонности, быть с ним крайне осторожным и на многое закрывать глаза. Притом, он далеко не был равнодушен к обращению, которое встретил в Париже, — к почету, милостям, подаркам, которыми его осыпали. Польщенное самолюбие и удовлетворенное тщеславие брали в душе его верх над принятым решением быть осторожным и недоверчивым, хотя и не могли вполне устранить его предубеждений.

Во всех разговорах с Румянцевым, Наполеон оставался верным тому плану обольщения, которого он решил держаться по отношению к нему; он не встречал его иначе, как только любезными словами. Несмотря на это, под предупредительностью, которая от-

[1] Mémoires de M-me de Remuzat, III, 342.

носилась лично к нему, Румянцев скорее уловил едкое и горькое чувство к своему двору; он понял, что Наполеон считал до некоторой степени и Россию ответственной за причиняемые ему неприятности. Зачем, говорил император, не поняли и не послушались его в Эрфурте! В то время все можно было бы исправить или даже предупредить. Говоря решительным тоном, угрожая, Россия могла бы легко остановить Австрию на наклонной плоскости, по которой та скользила. Александр не сумел оценить положения, и он сам, Наполеон, виноват, что не настаивал решительнее на том, чтобы взгляды его были приняты. «Он сильно упрекал себя и Ваше Величество, писал Румянцев Александру, в том, что в Эрфурте не было принято решения потребовать разоружения Австрии»[1]. Однажды он сказал графу: «Наш союз дойдет до того, что сделается постыдным, сами вы ничего не хотите делать и не доверяете мне»[2].

В предстоящей кампании Наполеон, конечно, желал воспользоваться содействием России, но мало надеялся на это. Впрочем, по его словам, если его союзники не окажут ему помощи, он справится и один, и собственным мечом разрешит распрю. Он говорил, что неподготовленные к бою австрийские солдаты, дурно снаряженные, едва одетые, эти «совершенно голые солдаты», или, вернее, вооруженные толпы, которых бросят на его дорогу, не страшны ему, что он повалит Австрию с одного удара и бросит ее к своим ногам. «Она хочет пощечины, я отхлещу ее по обеим щекам, и вы увидите, что она же будет благодарить меня и просить приказаний, что делать»[3]. Но, продолжал он, он не намерен более прощать ее и будет безжалостен. Он говорит, что изорвет Австрию в клочья, и приглашал Россию к дележу шкуры. На эти свирепые выходки Румянцев отвечал довольно удачно. Он не высказывал сразу, позволял себе делать возражения только в замаскированной форме, и на метафоры своего свирепого собеседника отвечал метафорами же. «Я изобью Австрию палкой, говорил Наполеон,

[1] Румянцев императору Александру, 12—24 января 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

[2] Id., 30 января — 11 февраля 1809 г.

[3] Румянцев императору Александру, 30 января — 11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.

— Ваше Величество, не бейте ее слишком сильно, а то нам придется считаться с синяками»[1*].

Несколько дней спустя император как будто смягчился. Характер его разговора был менее груб и более спокоен. Разгром и уничтожение Австрии не были уже единственной темой его разговоров. Довольный происшедшей переменой, Румянцев приписывал это своему влиянию и ставил себе в заслугу; труд, по его словам, был тяжелый, но результаты уже начали сказываться. «Смею сказать, — писал русский министр, — я притупил его гнев»[2].

Нужно сказать, что министр приписал слишком большое значение нескольким обдуманно и умело сказанным фразам, тогда как истинная причина успокоения заключалась в том, что война стала казаться Наполеону менее вероятной. Прежде всего, в продолжение нескольких дней он был охвачен мимолетной надеждой достигнуть первоисточника всех затруднений и завязать серьезные переговоры с Лондоном. «Ему вообразилось,— писал Шампаньи Колленкуру,— что предоставляется возможность сделать новый шаг в пользу мира в самой Англии»[3]. Впрочем, эта нить очень быстро выскользнула у него из рук, но зато новые известия из Вены исправили предшествующие, бывшие причиной преждевременной тревоги. В только что присланном донесении Андреосси сознался, что слишком поторопился возбудить тревогу. Теперь в том, что происходило перед его глазами, он видел только продолжение приготовлений, начатых десять месяцев тому назад; причем, эти приготовления шли прежним темпом[4].

Очевидно, Наполеон остановился на мысли, что война не вспыхнет ранее апреля или мая. Но, думал он, раз разрыв отложен, то, может быть, найдется средство и совсем устранить его. Может быть, не теряя времени, действуя более сплоченно, Франция и Россия успеют еще принудить Австрию к покорности,

[1] Id.

* Вероятно, каламбур: lesbleus значит синяки на теле; но словом lesbleus назывались и солдаты французской армии, которые в то время носили синие мундиры (Прим. пер.).

[2] Id.

[3] Шампаньи Коленкуру, 7 февраля 1809 г.

[4] Андреосси Шампаньи, 3 февраля 1809 г. Archives des affaires étrangères.

что избавит от необходимости сражаться с нею. Но средства, восхваляемые до сих пор, — как то советы и предостережения — не отвечали уже, по его мнению, потребностям положения. Наполеон не прочь отправить торжественную ноту, текст которой, наконец, дошел до него, но он видит в ней только недостаточную полумеру, в особенности же в тех выражениях, в каких она была составлена Александром. Он хочет большего: он хочет торжественного решительного шага, который представит, по крайней мере, ту выгоду, что рассеет всякое сомнение по поводу намерений Австрии и вынудит ее поднять вуаль. Главное, что требуется, — это получить от нее необходимые гарантии взамен тех, которые будут ей даны; — дать ей неоспоримое обеспечение ее безопасности, но зато предписать точные требования. Император сделал Румянцеву следующее предложение: пусть Александр I предложит Австрии гарантировать ей в договоре неприкосновенность ее владений от посягательства Франции; Наполеон заключит с ней договор подобного же рода против России. Взамен этого Австрии предложено будет разоружиться и прекратить военные приготовления. Она может сделать это с полной уверенностью в своей безопасности, ибо в обязательствах, написанных обоими императорами, в особенности же в обязательстве Александра, в искренности которого она не может сомневаться, она найдет неизменную охрану. Чтобы успокоить ее, Наполеон поговаривал даже об эвакуации конфедеративных владений, об отводе всех своих войск по левую сторону Рейна, впрочем, не желая делать из этого точного обязательства или вступать по этому вопросу с кем бы то ни было в соглашение[1].

Несмотря на эту оговорку, император никогда еще не заходил так далеко в своих попытках избегнуть столкновения, ибо, в сущности, он предлагал отказаться навсегда от нападения на Австрию под опасением иметь против себя своих собственных союзников и за спиной Австрии встретить Россию. Но его предложение не могло иметь успеха. Недостаток его со-

[1] Донесение Румянцева Александру, 30 января — 11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
Письма Шампаньи к Коленкуру от 4, 14, 18 и 23 февраля 1809 г. Gf. les Oeuvres de Roederer, III, p. 537.

стоял в том, что Наполеон считал возможным для Австрии такое унижение, на которое та не могла согласиться. Дело шло, ни более, ни менее, как о требовании, чтобы Австрия сложила оружие и отказалась от собственных средств заставить относиться к себе с уважением, чтобы она положилась на слово двух своих могущественных соседок и существовала только по их милости. Ее гордость, ее восстановленные военные силы не позволяли ей приступить к разоружению без взаимности; она не могла поставить себя в положение столь явной подчиненности и зависимости. Только в самой себе, в чрезмерном увеличении своих сил, в национальном движении, которое она разжигала с тех пор, как наше посягательство на Испанию пробудило ее опасения и возбудило ее страсти, допускала она и надеялась найти гарантии. Тщетно Наполеон борется с последствиями своей ошибки и силится избегнуть их; он всюду наталкивается на эти последствия, и ему уже не удается более устранить их с своего пути. Война, которую он сам вызвал, бросает его в другую войну, которая ему в высшей степени нежелательна; роковой шаг, извративший всю его политику, вынуждая его бороться с затруднениями, для которых нет мирного и нормального решения, осуждает его повсюду, куда бы он ни обратил свои взоры желать и требовать невозможного.

Только при условии, что Россия сразу же проникнется нашей идеей и на ней построит свою речь, можно было рассчитывать, что предлагаемый шаг может дать какой-нибудь результат; что он может вызвать в Вене некоторое колебание, задержать ход событий, открыть путь к переговорам и привести к соглашению. Вполне основательно Наполеон хотел, чтобы первое слово было сказано Александром. До сих пор Австрия возлагала надежды на потворство русского государя, и, судя по неоднократным донесениям, не отказалась от них и теперь. Поэтому-то именно из Петербурга и должно было исходить по ее адресу строжайшее предостережение, т. е. требование, которое образумило бы ее и которое оставило бы ей для спокойного ее существования только один исход — покорность. Итак, желанием Наполеона было, чтобы Румянцев тотчас же принял французский проект, сообщил его в Петербург и горячо рекомендовал его там; чтобы он убедил царя взять на себя инициативу

переговоров и поддержать их большой военной демонстрацией; чтобы сам Румянцев, оставаясь в Париже, действовал безотлагательно. Он хотел, чтобы Шампаньи и Румянцев обратились к Австрии с тождественными словами, решительными и суровыми. Так как присутствие графа в Париже в некотором роде сокращало расстояние между парижским и петербургским кабинетами, то и следовало, по мнению Наполеона, воспользоваться этим обстоятельством, чтобы придать их деятельности исключительную энергию, установить между их поступками полную солидарность и одновременность, что при обычных условиях и при дальности расстояния между столицами было недостижимо.

На несчастье, Румянцев переживал в это время период бесконечных колебаний и жестокого душевного беспокойства, что делало его неспособным к последовательному и энергичному проявлению воли. Несмотря на то, что наши требования вытекали из настойчивого стремления к миру, Наполеон с каждым днем внушал ему все большее беспокойство. Он боялся, что завоеватель, толкая его занять угрожающее к Австрии положение, преследовал только одну цель: сделать Россию участницею преступного нападения. Иногда, после долгой беседы в Тюльери, он отгонял свои сомнения, хотел верить в императора даже тогда, когда не мог понять всех его намерений, проникнуть во все его расчеты, и говорил себе, что раз наполеоновская система имеет свои догматы, она вправе иметь и свои тайны. Минуту спустя, его снова охватывает сомнение. Из потока слов, которые вырывались у Наполеона, он вспоминал одну какую-нибудь фразу, одно какое-нибудь выражение, которые, как будто, оправдывали его беспокойство, и привязывался к ним с болезненным упрямством. В душевной тревоге он искал, кому бы открыться, с кем бы поговорить о своих мучительных волнениях. Чтобы выслушать его признания, всегда удивительно кстати подвертывался ему Меттерних. Хитрый немец притворялся, что ищет общества русского; он окружал его заботами, «душил своими ласками»[1]. Во время их частых свиданий Румянцев усиленно советовал Меттерниху соблюдать

[1] Шампаньи Наполеону, 4 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1676.

осторожность, умолял, чтобы Австрия успокоилась, берегла себя, избегая всякого повода к нареканию. Но в то же время он не стеснялся высказываться и о том, что неприятно поражало его в Наполеоне и вызывало его беспокойство. Можно себе представить, как старался Меттерних поддерживать и развивать в нем эти полезные опасения. Он опровергал доводы Наполеона, утверждал, что Австрия ни в чем не повинна, красноречиво и искусно отстаивал это положение, и Румянцев расставался с ним, если и не убежденным в истине его слов, то, по меньшей мере, расстроенным и совсем сбитым с толку[1].

Внимая то словам императора, то Меттерниха, старый министр никак не мог уяснить себе положения, не мог разобраться, кто хочет войны, кто готовится напасть. По этой причине он воздерживается от всего, что могло бы наложить обязательство на его правительство и, в особенности, скомпрометировать его лично. Сперва он оспаривает пользу, неотложность «решительного шага». Благодаря этому он теряет несколько дней — тогда как каждый час дорог — и предоставляет Австрии двигаться далее по пути, на который она бросилась. Наконец, он передает в Петербург императорские предложения, но не прибавляет к ним никакого пояснения и ни слова не говорит в их пользу. Он уклоняется от всякой инициативы и отказывается от верной роли, которую Наполеон хотел бы заставить его сыграть. Чтобы избегнуть кризиса, который, благодаря откладываемому вмешательству, приближается более быстрыми шагами, он полагается на благодетельное время, рассчитывает на будущее, на авось, — это Провидение нерешительных. Русская политика, выразителем или, лучше сказать, творцом которой он, состоя при особе Наполеона и пользуясь широкими полномочиями, признан был, носится по волнам без определенного направления. По временам она, как будто, двигается по какому-то пути, затем останавливается, пятится назад, теряет время в бесплодных метаниях, и, в конце концов, все дело сводится к нулю.

Наконец, Румянцев принял решение. Оно состояло в том, чтобы уехать из Парижа и возвратиться в Петербург с целью, как говорил он, работать там для

[1] Mémoires de Metternich, II, 269 и 274.

сохранения мира между Францией и Австрией. Его отъезд или, вернее, бегство озадачило всех. Меттерних не скрыл от русского министра, что тот сходит со сцены в решительную минуту. Он указывал ему, «что критическое время — это те четыре недели, которые он проведет в долгом пути»[1]. Наполеон же, видя, что Румянцев хочет окончательно стушеваться, составил себе в высшей степени дурное мнение о его способностях и силе характера, и никогда не в силах был простить ему его бегства.

Тем не менее, он до последней минуты пытался убеждать и поучать его. Граф собирался уже выехать, когда явился Шампаньи и велел доложить о себе. «Я застал его, писал французский министр[2], за завтраком; лошади были уже заложены». Целью этого визита было сообщить Румянцеву о новом проступке Австрии: об участии, принятом венским двором в деле заключения мира, который только что был подписан в Дарданеллах между Портой и Англией. Наши агенты в Константинополе приобрели доказательство усилий Австрии сблизить турок с нашими врагами и привлечь их в антифранцузскую лигу, и уловили там один из узлов готовой сформироваться коалиции. Взволнованный этими сведениями, Румянцев унес из Парижа кое-какое желание действовать, но оно не устояло против дорожных размышлений. Недалеко от русской границы он получил от своего государя письма, в которых он уполномочивался и, до известной степени, даже приглашался вернуться назад или направиться в Вену. Он не принял их во внимание, отправился дальше и в середине марта вернулся в Петербург.

Еще до его возвращения Александр, ознакомясь из его донесений с предположениями Наполеона, сделал его предметом беседы с Шварценбергом. Он развил идею о двусторонней гарантии, не придавая, однако, своим словам официального характера. Князь не мог не признать важности этого сообщения, но тотчас же усомнился в искренности Наполеона, и притом не скрыл, «что теперь, это слишком поздно»[3]. Действительно; пока в Петербурге велись эти бесплодные

[1] Memoires de Metternich, II, 273.
[2] Письмо Коленкуру, 14 февраля 1809 г.
[3] Донесение Коленкура от 6 марта 1809 г.

беседы, в Вене все сильнее раздавалось бряцание оружия, наконец, оно покрыло голоса ведущих переговоров и возвестило об истинном характере австрийских намерений и о скором начале враждебных действий.

В своих первоначальных расчетах Австрия назначила время столь зрело обдуманного нападения на март; но затем она убедилась в невозможности быть готовой к этому времени и перенесла его на апрель[1]. В конце февраля она перешла от подготовительных мер к тем, которые непосредственно предшествуют началу кампании, т. е. к передвижению мобилизованных войск, уже давно снаряженных и обученных. С этого времени она перестала отстаивать мирный характер своих намерений, так как таковой вполне опровергался действиями, значение которых нельзя было ни скрыть, ни извратить. Меттерних получил приказание объявить в Париже, что его двор смотрит на военные предосторожности Франции, которые приказано ею принять на территории Конфедерации, только как на благовидный предлог, а потому и сам переводит свои войска на военное положение. Это заявление имело место 2 марта. С этого момента в австрийской монархии все приходит в движение. Триста тысяч действующей армии, резервов и ландвера, собранные в различных провинциях, шумно двигаются к границе. Это движение происходит в Вене на глазах наших агентов. С каждым курьером они доносят о проходе новых войск; они видят, как полки проходят через столицу «с песнями, под звуки флейт», при восторженных кликах толпы. В народе, воодушевленном приготовлениями к войне, пробуждаются и кипят страсти; воинственная горячка охватывает все классы и проявляется обычными манифестациями[2]. Агитация из салонов переходит на улицу. Гордая венская аристократия идет в народ с тем, чтобы возбуждать его и руководить движением. Дамы высшего света «берутся за ремесло вербовщиков милиции»; они воодушевляют нерешительных и посылают их сражаться. Молодая императрица в соборе Святого Стефана тор-

[1] Beer, op. cit 367, 369.
[2] «В театрах, писал наш представитель от 23 марта, подхватываются все намеки на текущие события и в особенности те, которые относятся к независимости Германии; они сопровождаются бурными аплодисментами».

жественно раздает батальонам ландвера знамена, ленты к которым она сама вышивала[1]. Что же касается императора Франца, то он как бы бессознательно следует за общим движением. Иногда он как будто пугается своей собственной смелости и волнуется при виде мер, которые в принципе он сам одобрил. Увидя из окон Бурга, как двести орудий устанавливаются на лафеты, он удивляется, сердится, кричит что не давал приказаний; но им тотчас же овладевает его неизлечимое недоверие к Наполеону, и он твердит, «машинально занимаясь в своем кабинете: этот человек причиняет мне много хлопот; он положительно хочет разрушить мою монархию»[2]. Эта мысль, которую вбили ему в голову, рассеивает его сомнения, лишает его сознания чувства долга, заставляет забыть слово, данное на другой день после Аустерлица. Беря на себя инициативу враждебных действий, он искренно воображает, что предупреждает нападение, которого, в действительности, никогда не было в уме его противника; он послушно садится на коня и провожает до городских ворот отправляющиеся к границе войска. В конце марта армии были уже выстроены фронтом против Баварии, против великого герцогства Варшавского и против Фриуля — на трех пунктах, где должно произойти вторжение. Главное начальство над ними принял эрцгерцог Карл. Война еще не объявлена, а о ней уже возвещается в манифестах к немецкому народу. Наконец, несколько дней спустя, власти пограничного города Браунау задерживают курьера с депешами для нашего посольства, ломают печать с гербом Франции — этим нарушением международного права открывают ряд явно враждебных действий.

Австрия сбросила маску раньше, чем думал Наполеон. Удивляясь ее безумию, он все еще спрашивал себя, доведет ли она до конца свою дерзость, перейдет ли границы, сделается ли фактически зачинщиком, не является ли весь этот шум средством вызвать нападение с его стороны и этим путем спасти себя от

[1] Депеша поверенного в делах Додюна от 4 апреля 1809 г. Тот же агент писал 18 марта: «В 1805 г. войны желало правительство, но не армия и не народ. В 1809 г. ее желают и правительство, и армия, и народ».

[2] Депеша Андреосси от 18 февраля 1809 г.

обвинения в неблаговидном поступке. Как бы там ни было, он тотчас же принимает меры для борьбы. До сих пор, чтобы лишить австрийцев всякого сколько-нибудь основательного повода к тревоге, он не приказывал делать в Германии непосредственных приготовлений к войне. Корпуса рейнской армии были разбросаны на обширном пространстве; баварские, вюртембергские, саксонские контингенты были сформированы, но не соединены. У Наполеона в Германии есть войска, но нет армии. Впервые, с самого начала своих войн, он дал опередить себя противнику. Но его сверхъестественная энергия исправляет все и наверстывает пропущенное время. С быстротою молнии он приводит в движение все пружины. В несколько дней он комплектует и увеличивает состав войск, снабжает их продовольствием, отправляет в поход, устанавливает связь между корпусами — как французскими, так и союзными — посылает Даву на Бамберг, Удино на Аугсбург, Массена на Ульм. Близость этих пунктов дает возможность сосредоточить войска, как только ясно обозначится неприятельский план, и, вместе с тем, имеет в своем распоряжении достаточное количество войск, чтобы загородить эрцгерцогу дорогу в долину Рейна. В Италии император переводит армию принца Евгения на правый берег реки Эч, в Северной Германии на фланге Австрии собирает саксонцев и поляков, составляет из них 9-й корпус нашей армии и назначает их для прикрытия Дрездена и Варшавы. В то же время в тылу враждебной Австрии он обращается к союзной России и призывает ее к оружию.

От Александра он просит уже не слов, а действий. Наступил момент, когда союзники Тильзита и Эрфурта должны составить общий план военных действий и по взаимному соглашению наметить движения своих войск. Наполеон употребляет ряд усилий, чтобы понудить Россию принять необходимые для оказания ему помощи меры. С тех пор министерские депеши к Коленкуру следуют одна за другой без перерыва: 5 марта, затем 11-го, 18-го, 22-го, 23-го, 24-го, 26-го, 29-го, Шампаньи указывает посланнику на настоятельную необходимость добиться мероприятий быстрых, серьезных, которые разнеслись бы повсюду. Император сам пишет царю, и более подробно — Коленкуру. Он поручает ему просить об обмене между союзными дворами взглядов, о средствах согласования их действий и

желает, чтобы немедленно же был установлен план кампании.

Взвесив все, он полагает, что Россия, не обессиливая себя заметно ни в Финляндии, ни на Дунае, может помочь нам 80 000 человек. По его мнению, географическое положение России позволяет ей употребить их с величайшей пользой для общего дела. Русские владения — включая и негласно присоединенные княжества — обнимают полукругом восточную часть австрийской монархии; они внедряются в Галицию, Венгрию и Трансильванию. Действуя по концентрическим путям на разных пунктах своей границы, Россия может с первого же момента стеснить действия Австрии, может напасть на нее с тыла и, отвлекая на себя ее силы, парализовать ее движение к Рейну. Следовательно, необходимо, чтобы у царя была сильная армия в Польше*, готовая по первому знаку занять Галицию. Было бы не менее полезно, чтобы русская армия на Дунае, слишком многочисленная для ее слабого противника, отделила самую западную ее часть и повернула против Австрии; чтобы, сделав оборот направо, она поставила ее фронтом в Трансильвании и держала готовою вторгнуться в эту провинцию. Равным образом, Россия может способствовать и защите французской Германии, если она продвинет один корпус до Дрездена и поставит его между поднявшейся Австрией и волнующейся Пруссией. Впрочем, говорит Наполеон, пусть Россия сама определит свое содействие в зависимости от ее средств и ее удобств. Он подчинит свои движения движениям союзника. Если Александр захочет двинуться на Дрезден с 40 000 человек — ему протянут руку в этом городе, если же он предпочтет собрать воедино свои силы и направить их прямо на Вену, — Наполеон предлагает ему свидание под стенами этой столицы[1]. Вся суть в том, что Россия уведомила нас, что она будет делать все, дабы наши и ее действия были согласованы; главным же образом, чтобы она приняла свои меры как можно скорее, открыто, во всеуслышание, чтобы она демонстративно обнажила шпагу, вывела войска из гарнизонов, поставила их на военное положение и повсюду показала свои армии. «Нельзя терять ни одной минуты,— пишет Наполеон Александру. — Вашему Величеству необходимо тотчас же выставить ваши войска на границах наших общих врагов. Я рассчитываю на союз с Вашим Величеством, но нужно действовать, и я полагаюсь на вас»[1]. Любым способом царь может оказать благотворное и решающее влияние на события. Если и есть еще надежды, если и существует единственный и кратковременный шанс избегнуть войны, то они состоят в том, что Россия, выставляя войска и выражая свои французские симпатии, устрашит Австрию и остановит ее на краю пропасти. Если же война окажется неизбежной, действительное вмешательство России, склоняя с самого начала в нашу сторону, сократит кризис, который является следствием стольких других.

* Нынешняя западная и юго-западная губернии. (Прим. пер).

[1] Донесение Коленкура от 8 апреля 1809 г.

II

К настоятельным просьбам, которые опирались на по крайней мере двадцать раз повторенных обещаниях, Наполеон примешивал даже призыв к воинской чести и политической честности. Но имел ли император право ссылаться на эти высокие понятия после того как он сам, в продолжение предыдущего года увертками и двусмысленным поведением внедрил сомнение и подозрения в душу Александра? Теперь, когда нам потребовалась помощь России, царь не знает, оказать ли нам по первому же требованию свое содействие или отказать. Он поступает так, как свойственно бесхарактерным людям: чтобы избавиться от затруднения принять определенное решение, он откладывает его до последней возможности. Даже и теперь он отказывается признать неизбежность войны с Австрией — войны, с которой не мирятся ни его совесть, ни его политические принципы, и которую, если обстоятельства неизбежно вынудят его к ней, он будет вести против своего желания. Он вовсе не желает готовиться к ней; для него это тягостная гипотеза, от которой он предпочитает отвести свои взоры. Итак, он уклоняется от того, чтобы принять определенное решение, он всячески избегает его, и теперь, в свою очередь, пользу-

[1] Письмо, опубликованное Татищевым в Nouvelle Revue, 1-er septembre 1891.